

Володя ЗЛОБИН

МЕЛ ОЧЕЙ

Повесть

Он стоит в майке, с двумя ножами, под хрупкой веткой сирени.

— Сократишь дистанцию — мы применим по тебе оружие!

Нога едет вперед так, будто на ней не сланец, а лыжа.

— ...применим оружие!

Мужик склбится. Он сам не знает, как вышло, что он здесь, у завьюженного сиренью подъезда, в тапочках и с ножами. Непонятно даже, что нелепее — сланцы или два кухонных остря. Ну взял бы один нож, грозно бы все торчало, а он цепко сжимает два, как ребенок, который на-шел, за что ухватиться.

— Ножи бросил! — повторяет милиция.

Пьяница встряхивает головой. Залитые глаза проясняются. В мае на уже загоревшем лице глаза эти как синий подтаявший снег.

— Давай! Делай! Я готов! Делай, говорю!

— Не сокращать дистанцию!

— Делай, говорю!!! — ревет мужик.

Он больше не похож на пьяного и твердо смотрит вовне. Тапки заносчиво скребут асфальт. «Трр-ш, трр-ш», — всем мурашки.

— Делай, говорю!

От предупредительного выстрела вздрагивает сирень. Мужик смотрит недоуменно, а потом зло: вы не шутите, ну и я не шучу. Он кидается... не так, чтоб добежать и зарезать, а покорно, предначертанно как-то, чтоб обязательно выстрелили. Руки вытянуты по швам. Ножи глядят от бедра.

— Давай! Я готов!!!

Беспорядочная стрельба вспыхивает об асфальт. Сирень теряет ветку. Отлетевший сланец пропрыгивает на пяточке, словно хочет ускакать от хозяина. Тот вое, обхватив пробитую голень. И вой этот полон обиды.

Я отхожу от окна.

За ужином мне не терпится поделиться с семьей. Отец морщится, за него говорит дед:

— Водка сгубила.

Мать соглашается и с облегчением смотрит на пыльный графин.

Семья все знает, но знает ведь не от меня. Я ерзаю, говорю. Во мне много гласных: «а он», «а они», «и я». Отец сосредоточенно перемалывает мосол. Дед стучит костью о стол. На клеенку вываливается разжиженный костный мозг. Я замолкаю. Не о том, как стреляли, мне хочется рассказать. И не как мы, мальчишки, на спор трогали подсохшую кровь.

В тот вечер я лег спать обделенным. День кончился без итога. В нем случилось то, чего я не мог понять. От этого было неудобно, и я долго ворочался. А звезды светили в окно. И знали что-то, чего никто не знал.

Понимание пришло через много лет, в восьмом, кажется, классе.

Я шел вдоль зябкой стеночки в коридоре. Каждый класс у своего подоконника. У старших подоконника два — для девочек и для мальчиков. Там возня, одно хочет перетечь в другое, и, не справившись, в стенку передо мной влетел парень.

Он был высок, разогрет и отскочил в шутку, так, чтобы нашлось, от чего оттолкнуться. А рукава... Рукава закатаны по локоть. У таких почему-то всегда закатаны рукава, словно враг победил, все-таки взял столицу.

Парень заметил меня, расплылся в улыбке и начал кружить, в шутку выбрасывая кулаки. Из расслабленных удары становились точными, ноги переменяли друг друга. Боксер уклонялся от растерянного меня, обрабатывал корпус, резко бил снизу вверх, отскакивал. Волосы мои колыхало эхо ударов. Под ликование подоконника боксер обтанцевал меня.

На исходе танца, высунув из кулака большой палец, я ударил всего один раз. Не кулаком ударил, а дулей — и попал в ухо, словно хотел просунуть туда ноготок. Удар был сокрушителен и нелеп. Танцора повело на сторону, он схватился за ухо и, согнутый больше, чем может согнуться дерево, посмотрел на меня снизу, посмотрел ошеломленно, с вечной теперь обидой.

Я узнал ту обиду из-под сирени. Это была она — нарывающаяся, не верящая, не замечающая причин. Обида на то, что мир устроен совсем не так, как ты привык полагать.

Дома я все рассказал отцу. Тот спросил, как я управился с кулаком. Я показал пятерню, без этого дурацкого внутри пальца, но чуял — удар как учили, правильными костяшками, была бы обычная драка, и я бы в ней проиграл. Перепуганной дулей я не то чтобы ударил, а куда-то всунулся, проник в то, о чем боксер даже не подозревал. Это как вдруг лизнуть языком. Я вот всунулся в ухо. Старшеклассник не ожидал этого и был смят.

Я не ударил его. Я его растерял.

Того мужика под сиренью тоже ведь растеряли. Он до конца не верил в угрозы. И то, что неизбежность стрельбы была очевидна, но все равно вызвала удивление, и стало искрой, взволновавшей маленького меня. Я уловил несоответствие, с которым успели сжиться взрослые. Во всем происходящем был какой-то разлад, что-то абсурдное, подмечаемое лишь детьми.

Утром меня подстерегли у школы. Несмотря на холод, старшаки позакатывали рукава. Мосластыми были руки.

Вечером отец пристрастнее спрашивал о кулаке.

Кулак в семью принес прадед. Прадед воевал, что-то потом натворил и поэтому подзадержался, пришел позже, чем остальные, совсем с другой стороны, высохший весь, *теньливый*, с солнышком за спиной. Он мрачно посмотрел на деда, сбереженного растерянным бабьем, и научил его кулаку. От деда кулак перешел отцу, а от отца мне.

По ночам я вставал и бил в висящий на стене ковер так, чтобы косячки едва тревожили ворс. Кружились пылинки, и кулак мой взрезал галактики. Ковер был ночным горизонтом, последней вселенской границей. Мягким кишечным ворсом она отталкивала меня.

Кулак казался священным огнем, пронесенным через столетие. Прадед мой был богом, кулак был нужен ему, чтобы крушить железных чудищ с крестами. Дед, приняв кулак, стал героем, защищал от урлы поселковое пограничье, днем же помогал строить дома тем, у кого не было молотка. Отец вышел ремесленником, сызмальства ковал и работал, и, когда ел вместе со всеми — в армии ли, на заводе, — покатый кулак его бесхозно покоился на столе, и знали все: этот хлеб защищен. Я же стал глиной. Я слушал отца, знал истории деда и видел во сне, как прадед, упершись в окоп, отжимает танк в небо. Но мой удар был пуст. Я лишь хранил память о нем и не умел пользоваться.

— Чем бил? — спросил отец.

Он вертел мое лицо, как подгнившую сливу, — не стесняясь, продавливал синяки.

Я сделал взмах, как в детстве перед ковром.

Отец покачал головой:

— Кулаком? Не им бьют. Волей. Прадед твой такого хлебнул, что все шарахались. От него запах шел: убью. Я с ним маленький в электричке ехал. Там компания. Задирать кого-то стали, бутылку в проход швырнули. Прадед поднялся и подошел. На него зыркнули и опали. И когда он шагнул назад, все в вагоне смотрели и видели — это поезд шатает, не старика.

Как у того, кто не лишал жизни, в рассказах отца много было этих «убью». Он бы мог, но, к счастью, не требовалось. Прадед исполнил норму за всех нас, и его чтили как полностью покрывшего долг. Портрет его висел в комнате на стене. Черно-белый, без орденов, очень худой, прадед как ворон наблюдал с высоты. Мне было стыдно попадаться ему на глаза. Прадед знал, что я ни на что не гожусь. Мне не хотелось ни к кому подходить и что-то цедить. Вместо этого я думал о бутылке, которую катнули в проход. Ее ведь не подобрали, бедняга мотылялась туда-сюда. Уже доехали до конечной, обратно потянуло состав, и бутылку эту прибило в угол. Вот кого обидели!

Была в этом правда всех маленьких, правда щепок, жучков. Того, что у подвига под ногами. Как с отстреленной веткой сирени. Мы подняли ее, бегали, и таял цветочный шлейф. А может, там две пятилистки было. На два ранимых желания.

Наверное, поэтому я не мог освоить удар. Я не знал, ради чего его наносить. Подвиг слишком многое затемняет. Рядом с ним ничего не видно, и жжется герой. Подвиг сужает взгляд до кадра, до ослепляющей вспышки. А рядом, в темноте, лежит изрубленный лес и тела: чтобы что-то запомнилось, еще большее должно остаться безвестным.

Я рано заметил тягу окружающих к подвигу. Если строили снежную крепость, то с глубоким сводчатым казематом, чтобы при штурме можно было себя завалить. Если работа, то такая, как дедов завод, куда он уходил рано и приходил поздно, во тьму и из тьмы. Если мать снимала меньше сотни ведер помидоров, это считалось плохим урожаем. Подвиг искали в погоде: зимой желали замерзнуть, а летом — истлеть от жары. Все хотели чего-то изматывающего — потому хотели, что даже в простом жизнь была тяжела. Нужно было надорваться, что-то сделать с собой. Иначе как бы и не считалось. «Упласталась», — падая после дачи, выдыхала мать.

Не потому ли все были так одержимы подвигом, что прекрасное непременно представляется нам большим?

Как-то раз меня позвали прыгать с овощехранилища, рядом с которым дворник нагреб кучу листьев. Если оттолкнуться, можно было перелететь прутья оградки и бухнуться в хрусткий стожок. Из листьев выглядывали загнутые окурки, и, может, никто бы не захотел прыгать в кучу, но уж слишком призывно торчали штыри.

На крыше выстроилась очередь. Продвигались толчками, со смешком над теми, кто готовился сигануть.

Прыгали в кучу, как в мать.

Я оттолкнулся, но не вперед, а вверх, и, приближаясь к холодному осеннему солнцу, знал: я нанижусь на штырь. Он медленно заходил под меня, выцеливая брюхо сплюсненным зазубренным клювом. Он уже под ногами, уже под животом, и потому жуткий в нем холодок — сейчас пронзит, из ничего ударит и разорвет, и не за себя страшно, а за то, что расстрою родителей.

Куча мягко приняла меня. Пика нежно провела палочкой по спине. От поясницы до лопатки теплая красная полоса.

С высоты завороженно смотрела очередь. Кто-то облизывался, так ему хорошо. Сведенные коленки зажимали ладоши. Случилось то, чего так страстно желали: соприкосновение с непоправимым. Если вдуматься, все игры такие: кого первым прибьет. Чтобы тело ныло от сладости: не меня, не меня, не меня. И все-таки немножко — меня.

Потом все, даже те, кто стеснялся, вместе, рядком, остро писали на стену овощехранилища.

В другой раз на стройке нашли моток резины. Она была толстой, как бычий язык, и растягивалась лучше любого жгута. В ближайшем леске находку закрепили на дереве. Двое оттянули резину назад, а остальные прошли вперед по тропинке и выстроились гуськом.

Я встал последним.

Когда резину отпустили, я успел увидеть взметнувшуюся с дорожки хвою, коброй шипевшую ленту, отскакивающих в сторону пацанов, и вот уже я сам, огретый, лечу куда-то. Удар меня вырубил. «Потушил» — как сказали вокруг. Больно не было. Было жгуче и горячо. Меня словно ошпарили, плеснули тонкой линией кипятка. От лба до паха пролегла красненькая полоса. Царапина на спине больше не была одинока.

Убить не убило бы, но глаз мог выплеснуться, и, как однажды кому-то, это бы добавило мудрости.

Самым мудрым в моей жизни был дед. Прадед оставался немертвым, вечным напоминанием со стены. А дед был здесь, высохший, худой, первым с утра отхаркивающийся. Завод надсадил его легкие, и когда дед перхал, внутри него, как внутри глиняного сосуда, шелестел мелкий песок. От выбросов страдал весь город. Врачам приходилось выдумывать болезни, хотя они же, не под рецепт, говорили всего одно слово: «Газ». В газетах это называлось НМУ*, будто немой мычал. После «газа», вечером, когда ветер сметал его в пустую оголенную степь, я выбегал во двор. И мы, как птенцы, широко раскрывали рты, меряясь, у кого красней.

Когда я подрос, по воскресеньям дед стал брать меня в заводскую баню. Там грелись сутулые люди с тонкими бледными ножками. Руки с огромными ладонями свисали во мглу. Ими зачерпывали холодную воду и долго укрывали в них лица. Тела рабочих были корявыми, некрасивыми. Их было трудно любить: бледные посредине, с обожженными конечностями, шишками и наколками, они дрябло обтирались вехотками. Даже бугристые члены втянулись в разросшуюся, нестриженую волосню, словно и не мужчины мылись, а запущенные, никому не нужные женщины. На остановках, во дворах, на балконах рабочие были грубы, плевались и рывкали, а в бане бродили в пару, как в тумане чистилища.

Брал меня дед и на завод. Там рабочие были живы, весело злы. Людям нравилось браниться с машинами, выталкивать всё куда-то. Дед кашлял и рассказывал, как по вечерам в цеху плывет голубоватая титановая пыль. Я представлял северное сияние над сварливыми механизмами, которые соглашаются поработать еще денек, лишь бы снова увидеть мерцающую красоту. Но вскоре в цеху полыхнул взрыв, дед вернулся из больницы как сожженная спичка, и титановую стружку стали убирать в закрытые ящики. Затем их отвозили на переработку. Я сам видел, как рабочие простыми крестьянскими вилами закидывали слежавшуюся стружку в бракомолку и как оттуда выпадали спрессованные брикеты, будто сено съела корова. Мне казалось, что рабочим жаль расставаться с этими легкими горами и в бане они сядут и безмолвно закроют лица стертыми ледяными ладонями.

Отчего грустили рабочие? Грустили они, что не нужны большим старым машинам. Механизмы бились в изнеможении, будто хотели последний совершить оборот, а другие работали неспешно, с рассчитанной

* НМУ — неблагоприятные метеорологические условия.

однажды силой. Дед с гордостью показал трофейный зубофрезерный станок, который был грозен и строг. Он хмурился над расхлябанным местным металлом, словно его взяли не с боем, а поставили надзирать. На корпусе просматривалась хищная орлиная гравировка. Я верил, что чудище пленил мой прадед и приволок сюда, в нашу степь, обрабатывать зло. В чаду сновали рабочие, высохшие, черные, отдавшие жиры машинам, а станок высился непоколебимо, точно мог трудиться сам, без людей.

Завод был чем угодно, но не местом работы, не тем, за что дают деньги. Там выпаривали себя без остатка — эта влажная дымка в цеху была от людей. И приносили с завода ворчание, всезнающее кухонное недовольство. С рабочими часто расплачивались деталями, словно завод считал людей машинами, которые тоже нужно чинить. Отец ходил с деталями на рынок, пытался, как говорил он, «толкнуть». Толкнуть... от этого слова представлялся обрыв, с которого, как на отчаянном празднике, во что бы то ни стало требовалось сбросить все железяки.

Я так и не смог понять, что именно производил завод. В насмешку над моим любопытством он был обнесен мощным ребристым забором. Поверх лежала проволока, похожая на завитушки из прописей. Она то чистила, то провисала, и непонятно было, какой воровской порыв должна упреждать — снаружи или все-таки изнутри? Люди понемногу разносили завод по округе, точно хотели засыпать им яму, а может быть — котлован. Словно никто еще не привык к высоким полосатым трубам и большим шумным цехам. Они неестественно здесь смотрелись, загораживали простор. Зычный гудок прокатывался по нему, и воздух оказывался сокрушен. Такова была мощь завода — он ломал невидимое, и, если смотреть на него с мелкосопочника, над заводом колыхалось загадочное жаркое марево, будто он преломлял миражи.

Вокруг завода раскинулась степь. Это была не полная степь от края до края, а так, полуугол, где лютая свищет зима. Но все называли ее именно степью, хотя лесополосы перегораживали пустые равнины. Степь несла теплую горечь воспоминаний. Она упиралась в сказку, в пущенную кем-то стрелу. Казалось, если одолеть даль земли и войти в расплавленный, качающийся горизонт, тебя обольет светом, зажмурит — и ты окажешься у древних барханов или у подножия насупившегося дворца. Мы жили в настолько большом пространстве, что зло могло в нем попросту затеряться, и, может быть, в этом и состоял смысл мучительного поддержания наших протяженных границ.

Наша квартира тоже была большая, трехкомнатная. Маленький я блуждал по ней, неизменно останавливаясь у громадного сундука. Он остался от бабушки и был окован дешевым железом, которое отслоилось от тонкого дерева. В сундуке лежали отрезки ткани, пуговицы на картонках, фотографии, блюда и пудреницы... Если бы каждый сложил в этот сундук всего одну вещь, такую вещь, которая бы все про него говорила, сундук смог бы вместить историю целого города, а так в нем был накоплен всего один человек. Это показывало обратную сторону памяти,

которая могла быть обязывающей и случайной. Она властвовала над домом, заставляла его *сторожить*, и в этом бдении он незаметно терял жену. Я представлял, как достаю шали с приставшими нафталиновыми шариками или гремливые бусы в костяной шкатулке, достаю и силюсь припомнить бабушку, но находки тяжелеют и утягивают на дно пыльного сундука, где память стала обязанностью, а вещи — архивом.

Я никогда не открывал тот сундук. И уже не открою.

Я не буду ситом для воспоминаний. Не буду выуживать платки.

Я расскажу о мелочах. О тех близких привычных вещах, на которые надо глядеть чуть прищуренно, будто они совсем далеко.

Вот хотя бы о винограде.

Виноград... в этом слове чудился град вина, некое место, где домики сбегают друг на друга крупными покатыми каплями. Кисть винограда была как город, в котором живет вино. И как во всяком городе, в нем был свой несчастный — сморщенная, подгнившая, кислая ягодка. Город нужен, чтобы скрывать увечного — вот о чем говорил виноград. И вот почему его так называли. Когда взрослые объяснили, что дело в граде — плоды винограда похожи на градинки, — я сник. Теперь вину было негде жить.

Уже гораздо позже, когда никого не было дома, я шарился по антресолям. Вещи жили под потолком, словно умерли и вознеслись в платяной рай. Книжки, драные спальники, расквасившиеся сапоги — среди них человек был совсем чужой и незваный. Это были ничейные вещи, они не тянули за собой души. В них нельзя было кого-нибудь потерять. Мне запрещалось лазать на антресоли, так как я мог оттуда упасть, что успешно и подтвердил. Я скovyрнулся прямо на стремянку, кувырком одолел измазанные известкой ступеньки и проехался по полу. Сверху, как разъяренный глухарь, на меня спикировала раскрытая книга.

Полностью невредимый, я лежал посреди разгрома, и взгляд мой скользил по строкам. Ко мне выпала самая запрещенная вещь на свете — словарь. Он раскрылся на странице «вина», и я смущенно пролистнул ее. На следующей странице был «виноград». Слово пришло в наш язык как калька с одного из варварских языков, где *wein* было всё тем же вином, а *gards* — городом. Я сидел оглушенный — в сердце, побитом градом, поднималась забытая правда.

В этот миг я четко понял еще одно слово: «восторжествовало».

К тому времени я уже собирал мелочи, весь незаметный жизненный сор, что живет в стороне от повествований. Не из чувства жалости я собирал их, а из глубокого уважения. Мелочи были щебенкой, на которой мир воздвиг свои основания, и, пока все считали вагоны грохотавшего по насыпи поезда, я собирал отлетающие камешки.

Удар словарем расставил все по местам: человек может сам обо всем догадаться, ему дано природное понимание мелочей. Не важен возраст и ум. Главное — замереть. Но мир лез необходимостью подвига, требовал, чтобы мы стали хворостом, который плотно обложит поступок.

Не умея постоять за себя и плохо складывая кулак, я не хотел ни страдать от этого, ни что-либо менять. Как тогда за столом, о который стучала кость, я просто желал рассказать, что понял сам, без подсказки. О мелочах рассказать. И о том, что они открыли.

А началось все с букетика. С букетика кошачьих усов.

С нами жил большой рыжий кот с огромными оранжевыми глазами. Подобранный с улицы, поначалу он таскал под кровать даже картофельные очистки, пока не округлился до полного равнодушия к людям. Он ненавидел, когда его брали на руки, предпочитая глядеть на всех с сощуренным раздражением, за что и получил прозвище Ваше Дикошарие.

Домашние годами пытались заслужить любовь кота. Это была еще одна важная обязанность, которую выполнял даже дед. Сидя в кресле, он хватал зазевавшегося кота и мостил себе на колени. Ваше Дикошарие хорошо знал физику и начинал крутить такие бочки, что вылетал из объятий в ближайший цветочный горшок. Дед оставался сидеть с исцарапанными руками, воздев их в бессмысленном молитвенном жесте. Ваше Дикошарие же пристально рассматривал противника злым оранжевым взором. Это была битва двух патриархов, каждый из которых пытался распространить свою власть на другого. Дед втайне гордился мощным непокорным котом: соперничество с хищником доставляло ему удовольствие. А Ваше Дикошарие как бы не нарочно оказывался рядом с креслом, чтобы показать новый выученный кульбит.

Отец к сражению ревновал. Иногда он наподдавал разношенной тапкой по пушистому задку, но Ваше Дикошарие даже не огрызался. Он полностью исключал отца из своей жизни. Когда отец брал питомца на руки, он не брыкался, а как-то презрительно утекал, влепляя хвостом пощечину. «Ты мне не ровня, отстань», — говорила уверенная раскачивающаяся походка.

Мать старалась закормить кота, но тот воспринимал это как должное. Он никогда ничего не выпрашивал: садился в дверях и внимательно глядел с янтарным прищуром. Мне казалось несправедливым, что кот проявлял интерес только к грубоватому деду и не замечал ни попоранного отца, ни огорченной матери.

Особенно обидно было за мать, которая варила коту минтай и ворочала за ним горшки.

Я уже знал, что, когда женщинам хотят сделать приятное, им дарят цветы. Но цветы никак не сочетались с котом, из-за чего ум занимало слово «букет», который я силился привязать к слову «кот». Меня осенило: у Вашего Дикошария росли длинные толстые усы, которые так плотно торчали из волосяной сумки, что напоминали цветы, поставленные в вазу.

Так я захотел преподнести маме букетик кошачьих усов.

У меня не было и мысли выдернуть их. Я боялся приближаться к Дикошарию, который презирал мою беспомощность. К тому же дед всегда напоминал, что обижать животных нехорошо. Я не понимал, как это сочеталось с ежевечерней борьбой в кресле, но советам внял и начал следить за Дикошарием. Я нашел его тайную лежку под дедовым шифоньером. Вынул из продранных обоев прозрачный отслоившийся коготок. В нычке под кроватью обнаружил утиное перо с изумрудным отливом. Как драгоценные сокровища, я потихоньку набирал усики и осторожно складывал их в жестяную коробочку. Усы были жесткие, по-особому резали палец, словно я собирал тонкие струнки.

Когда усов набралось достаточно, я взял декоративную вазочку и распушил в ней белесый букет. Подарок вышел замечательным. Особенно я ликовал от нужности вазочки, которая от рождения стояла пустой. Она была создана бесцельной, не способной выполнить свое вазовое предназначение, крохотным была инвалидом, а я нашел ей цветы, и вазочка признательно склонила изогнутую грудь.

Даже прадед улыбнулся мне со стены: молодец, фронт любит находчивых.

Вечером, когда все сидели на кухне, я торжественно внес подарок. Ваше Дикошарие бдел у порога, суживая кухню недобрым рудым прищуром. Я поставил вазочку с кошачьими усами рядом с сахарницей и приготовился принимать похвалу. Пар от горячего чая ласково ерошил букет. Ночь прислонилась к окну. Секунды стали торжественными, молчаливыми.

Я ждал.

Подарок вызвал общий восторг. Дед от удивления крякнул и отметил мою сосредоточенность: «Это ж как долго ты собирал?» Отец одобрил: «Женщин требуется удивлять». Мама сказала, что это самый необычный букет, который когда-либо ей дарили. И крепко меня обняла.

Взрослые сразу поняли ценность подарка. Они похвалили не только детскую непосредственность, но и что-то действительно важное — неясную мне тогда перестановку смысла, в которой привычное перестает быть таковым. Это был букет, но в нем проступало чарующее: кошачьи усики как цветы, терпеливое лазанье во тьме под кроватью и бережное хранение нетленных ворсинок. Это был долгий дар, *пронесенный*. Он вызвал у взрослых уважительное вопрошание: как можно было додуматься, что усики могут составить пучок?

И понимание: можно.

Стол украшала маленькая зеленая вазочка, горлышко которой рассыпало белые кошачьи усы. Они трепетали от близости чайника. Как у древнего очага, я собрал вместе всю нашу семью и одно приблудившееся животное.

Я и прежде находил мелочи, но впервые сложил только в букетике кошачьих усов. Я складывал их вместе в разные годы, складывал неровно, без замысла, просто чтобы они жили как еще одни люди. Мелочи были

большие и малые, единственные и общие. Но я всегда помнил, что послужило точкой отсчета.

Букетик с кошачьими усами поставили на сервант. А к весне, когда они истончились и стали неотличимы от света, мы с мамой сдули их с балкона, как семена настоящего счастья. Усики подхватил влажный апрельский порыв и унес к оттаявшим черным прогалинам.

Мне было так хорошо, будто я засеял землю котами.

Теперь, когда многие вспоминают эпоху, мелочи вроде бы заняли в ней заслуженное положение. О них говорят с ностальгией, хотя ностальгия не более чем грусть по ушедшим товарам. Не так важно, что карандаш мог перемотать кассету, а в школе стучали фишки. Это лишь памятка поколений, чтобы они совсем уж не забыли себя. Мелочи были чем-то другим. Они таились меж большим и величественным, избегали важного и существенного, но не были и той нетерпеливой уверенностью, в которой кажется, что абсолют — голый. Мелочи нельзя было ни выкинуть, ни скопить, они просто были, брались из столкновения с жизнью, словно налетали друг на друга беспокойные кварки.

Взрослые понимали это. Правда, делали другие выводы. Они считали, что нужно так встать посреди жизни, чтобы в тебя обязательно что-то врезалось. И выстоять, не прогнуться. Точно все в этом мире было вызовом, и нельзя уступить дорогу, а то разгонится без тебя, зашибет остальных. Взрослые будто бы сообща тормозили что-то страшное, не давая набрать року ту умопомрачительную скорость, которая окончательно всех разметет. Это был подвиг, которого они требовали от молодых. Чтобы все билось в грудь и потом гремело в ней, как по утрам гремел кашель моего деда. А я этого не хотел. Я хотел поднять бутылку, что катнули в проход. Спасти хворост, которым обкладывают согрешившего.

Встать на пути считалось почетным, поэтому одним из самых авторитетных пацанов во дворе был восьмилетка, которому качели перебились хребет, и мальчик сросся неправильно, наклоненно. Он возвышался длинной касательной, с которой, как за край чего-то неведомого, свешивалась голова. К нему ходили, чтобы узнать — «Ну как оно там?», и он охотно рассказывал, как было в больнице, а потом в застежках жуткого паучьего аппарата, но мы, хотя и не подозревали об этом, спрашивали совсем о другом.

Со временем калека авторитет растерял. Его стали сторониться, жалеть. И хотя он все еще свешивал большую ясноокую голову, больше никто не спрашивал, что она видит. И сам он стеснялся рассказывать. А ведь раньше калека говорил, что может спать только на боку и что на левом боку снятся совсем другие сны, чем на правом. Так я узнал, что к смерти приближены дети и старики, те, кто еще не может и уже не может дать жизнь.

Годам к двенадцати из беззаботных дворовых детей начинали появляться первые взрослые. Это все не нарочно: у пыльной лопуховой канавы, по которой так громко бьют упругие струйки, вдруг скопишь

взгляд — без намека, для шутки — и видишь, что у товарища в паху черным-черно. Через секундную оторопь смотришь вниз, к себе, и незаметно подтягиваешь штаны, чтобы прикрыть свою стыдную голость. Или гурьбой замечаете друга, который идет с какой-то девчонкой, но если раньше вы бы обсмеяли и с улюлюканьем погнались, то сейчас напряженно смотрите вслед и сглатываете едва прорезавшимися кадыками.

А еще вот так все проходит, очень обидно: кто-то отказывается в прятки играть.

Наш двор стал взрослым вместе, вдруг и, как и всегда, за счет другого. В доме жил парень по прозвищу Пяточка. Он вечно следовал по пятам компаний, которые не воспринимали его всерьез. Пяточка был мал, затопан и смугл. На голове торчали жесткие кудрявые волосы, которые Пяточка сжег средством для мытья посуды. Он был вспыльчив, много ругался, но никого не трогал — в ответ на насмешку догонял, раскрывал большой губастый рот и выгалкивал зычное слово. Ему нравилось все громкое, и на спицы своего велика он прикрепил картонные трещотки. «Ань-мань-вань!» — кричал он, газуя в пыли. Даже улыбка у Пяточки была шумная. Он сверкал ею издалека, как молнией, и оглашал двор раскатистым гогогом.

Пяточка всегда был старше всех лет на десять. Не юродивый и не больной, а просто неудавшийся, он отошел от своих прежних знакомых, которые потихоньку обзаводились детьми, и пристал к нам, еще малолеткам. И когда мы гнали велосипеды на прямых ногах, а Пяточка, рогоча, догонял нас, мы вдруг разом всё поняли. Что у нас впереди что-то будет, а у него — нет. Мы стояли, отдыхая с травинками, и молча друг на друга смотрели — это было первое взрослое впечатление о жизни.

Понимание, что кому-то не суждено.

Мы вырастем, тоже куда-то пойдём, а Пяточка, чьи кудри подвднут и начнут облетать, подсядет к новой компании, осклабится и начнет хохотать. Пяточка был как эстафетная палочка, переходил от команды к команде, и люди несли его к финишу, не подозревая, что результат зачтется лишь им одним. Никто не посмотрит, что Пяточка тоже пересечет черту, и уж тем более не заметит, что он принес кому-то победу. Ведь если внимательно присмотреться — сама дистанция появляется только тогда, когда находятся те, кто не может самостоятельно ее одолеть. Пяточка свидетельствовал, что наши цели не смехотворны, благодаря ему зналось — полноценно живем.

В ту пору завод часто простаивал, и покуда дед с отцом переживали, как прокормить семью, Пяточка к ночи выбирался во двор, чтобы смотреть на звезды. Смог уходил, звезды оказывались близки, и Пяточка разглядывал их в том понятном уединении, которое сближает все расстояния. В эти летние ночи, когда небо похоже на улей, Пяточка беззаботно ходил от звезды к звезде и нигде не слышал отказа.

Вслед за заводом чахли люди. Они разбредались по городу в беспечности жизни и грустили о том, что больше не могут служить машинам.

Завод медленно убивал их, прожигал кислотой и калечил на производстве, но эту гибель считали оправданной, в нее верили, как в большую необходимость. Без нее было непонятно жить, и город хирел, начинал заниматься постыдным, а постыдным считалось все, что отдаляло подвиг.

В долгие февральско-мартовские недели на столе не оставалось ничего, кроме гречки или макарон. Заготовки с дачи иссякали, завод умолкал, и на вилку с неохотой насаживались пресные твердые рожки. Они были так постылы, что я много в них дул. Звук получался хлюпкий и пришепетывающий, полностью безнадежный. Макароний свист был тощей песенкой бедняка, так разговаривали люди, у которых завтра ничем не отличается от сегодня. Я часто слышал макароний свист в очередях, где квело жаловались на судьбу.

Отец пробовал калымить, все ездил куда-то, но мало что привозил. Тогда мама пошла работать в ларек ночной продавщицей. Внутри ларек был как сокровищница, куда пустил благодушный правитель: можно было смотреть, трогать, но не брать с собой. Жутко становилось от мысли, что ночью мама протягивает сокровища во тьму, куда и выглянуть страшно. Там скреблись, подвывали, требовали открыть. Отец не находил себе места, даже дежурил, но мама убедила его, что за крепкой дверью ей ничего не грозит. Когда маму все же ограбили, отец отругал ее и запретил работать в ларьке. А чего ругать? Это была дань орде.

Семью спас дед, который начал рыбачить. По выходным он брал ледобур, который напоминал жуткий инструмент стоматолога, обувал чудовищные прохоря, запахивался в просоленный бушлат и уходил в черную вьюгу. Возвращался дед вечером, в такой же тьме, и сгружал на кухне рюкзак, полный выловленных судаков. Они торчали из горловины замороженными хвостами и были твердыми, льдистыми. Я выбирал самую клыкастую рыбину и размахивал ею, как мечом. Чешуя холодила руку, пахло рекой, топорщились плавники — судак рассекал чуждый для него воздух, бил моих наземных врагов.

Из судака готовили уху, но большую часть улова мама пропускала через мясорубку. Сумки с фаршем до оттепели висели на балконных крючках, и их обсаживали синицы, на которых зло смотрел Дикошарий. Он очень любил рыбное филе и в то же время боялся, если я фехтовал судаком. Когда дед разгружал набитый рюкзак, Ваше Дикошарие проникался к сопернику полным доверием, отирая его промерзшие сапоги. Дед гладил кота красной рыбной рукой, и Дикошарий ловил волнующий его запах.

Рыба давала всем жизнь. Пообедать приходили соседи. Однажды они попросили занять денег, но денег не было, и в качестве валюты мама вытащила с балкона охалку замороженных рыб.

Я, конечно, капризничал. Мне не нравилось мягкое рыхлое мясо, и я вяло ковырялся в тарелке. Тогда дед начинал рассказывать. Он говорил, что судак — это волчистая рыба, она охотится стаей, в которой нет вожака. Почему-то для него это было важно, словно без вожака ее легче было поймать. И вообще — можно поймать, допустимо. Я рассматривал клыкастую

пучеглазую рыбу с опасным охотничьим гребнем и полосатым, каким-то тигриным окрасом. Дед объяснял, что судак в наши реки попал недавно.

— Это называется зарыбить, — говорил он, — подселили разбойника.

Я не понимал, зачем подсаждать хищную рыбу, которая подъела местных мальков. Как если бы в нашу квартиру тоже подселили разбойника, который караулил бы с ножом в коридоре, и нужно было каждый раз изловчаться, чтобы пройти на кухню или в уборную. Я спрашивал, а дед пересыпал речь чарующими словечками: «Зимники, прилов, молодь, вселенцы...» Особенно мне нравилось слово «судачат», где ударение превращало слух в рыбу.

Но истории заканчивались, а невкусная, размятая вилкой котлета все еще оставалась в тарелке.

— Когда я был маленьким, — укорил дед, — я жил со стариками в деревне. Мы очень редко ели мясо. Когда резали курицу, почти всю ее отдавали нам, ребятишкам. Старики обгладывали ошметки и делали вид, что им очень нравится. И вот, когда на столе появилась курица, я на радостях завопил: «Баба, смотри, твоя любимая голова!»

Когда отцу подвернулась шабашка, мы заказали на зиму из деревни половину коровьей туши. Ее смерзшиеся куски временно положили на кухне. А когда пришли разбирать, на куче мяса уже обосновался Ваше Дикошарие. Он восседал среди ребер, как на троне, и был благодарен за подношение. В то же время размер кота был таков, что верилось — это он и добыл.

Голод оставался неполным, и переживали его со смешком: мама рассказывала, как ее подруга проснулась от странного стука с кухни. Он доносился из холодного шкафа под подоконником. С опаской отворив дверцы, женщина увидела просунутую сквозь продуху руку, которая вцепилась в большую суповую кость. Кость никак не хотела проходить в лаз шириной в полкирпича, а вор никак не хотел расстаться с добычей, и кость весело стучала о стенку. Женщина схватилась за кость, дернула ее, и с той стороны кто-то с испуганным криком упал на землю.

Хотя был и отнюдь не веселый криминал.

В рабочих бараках близ завода жил Тюрят. Наглый, крепко сбитый пацан, которого турнули даже из местного техникума. «По Тюре тюрма плачет» — самое частое, что о нем можно было услышать. Он знал с кем-то из уголовников, называл себя смотрящим за районом и требовал уделять на людское. Людское уходило в карман его дутой спортивной куртки, где лежал выкидной нож. Он рассек им губу Пяточки за то, что тот слишком громко смеялся в «его дворе». Иногда на Тюрят находило благодушное настроение: он подсаживался к кому-нибудь и начинал затирать про воровской ход. Прерывать его было опасно: Тюрят верховодил гопотой и, даже просто попросив его помолчать, можно было нажать проблем.

Я нажил их в девятом классе.

Мы играли в футбол на школьном стадионе. Поле приятно похрустывало гравием и битым стеклом. Никто не знал, куда делась трава. Видимо, она вообще не предполагалась, и нужно было сызмальства падать на это шоркое коричневое пятно, запекая локти с коленками. Так воспитывались герои, которые уже сейчас не боялись совершать обдирающие подкаты.

По полю носились худые поджарые парни в выцветшей форме иностранных клубов. Они были сосредоточенны, часто проходили по флангам, исполняли финты, и мы смотрели на них как на будущих мировых звезд. Таланты попроще сбивались в кучу и толпой бегали за мячом, а самые бездарные игроки вроде меня стояли на воротах из портфелей.

Когда пришел Тюря, все напряглись, но парень был весел. Играл он плохо, с нелепыми обводками, хотя никто и не стремился отбирать мяч. Выпрашивая пас, команда кричала «Тюря! Тюря!», будто могла быть его друзьями, но гопник напрямую проходил к воротам и раз за разом бил пыром. К несчастью, я отражал удар за ударом. Глаза Тюри становились уже, удары жестче, и наконец он потребовал завершить матч серией пенальти.

Пока били в противоположные ворота, я лихорадочно думал о том, как лучше слинять. Тюре хотелось не выиграть, а пробить. И даже если я всё поймаю или всё пропущу — он найдет повод прикопаться ко мне.

Тюря установил мяч в колкую пыль. Провернул его, хрустко усаживая в сор. Отошел, ухмыльнулся. Все игроки выстроились за ним, словно были частью большой Тюриной команды. Без штанг, тем более без перекладки, я стоял меж двух грязных портфелей и готовился перехватить снаряд, словно он должен был пробить что-то важное. Нет, я не берёг хрусталь. Я стал участником ветхого представления, где была жертва и был палач и где все обязаны притворяться, что встретились не в день казни, а в день игры. Я был один против Тюри, который сгрудил за собой парней, и они — сочувствующие мне, боявшиеся его — молча разделяли правила намного древнее футбола.

Первый удар ошпарил живот. Мяч отскочил Тюре под ноги, точно он и задумывал такой трюк. Второй разметал портфель, из которого выпорхнула тетрадка. Третий взвил мяч свечой, и кто-то, выслуживаясь, крикнул: «В девяточку!» Следующий чуть не выбил плечо.

Тюря не делал ничего предосудительного, лишь со всей мощи лупил по центру, желая высадить мне кишки. Но это было хуже, чем удар в подворотне, хуже, чем порча слабого сильным, ведь все происходило по правилам. На них нельзя было пожаловаться, нельзя было дать отпор. Про такое говорят: «Терпи», будто это может закончиться. И не получается уйти, хотя бы рассказать правду. Сразу объявят виновным, нарушившим истину из пещер.

— Щечкой, Тюря! Бей щечкой.

Накачанный мяч ожигал. Он был готов лопнуть, хлестнуть разорванной камерой и крышкой. А я был готов стоять, хотя счет ударов давно перевалил за десяток. Речь шла не о пропущенных уже мячах, а о том, что я не мог выпрямиться из согнутой вратарской позы. Я ни с чем не боролся, нет! Не стоял в безнадежном упоре. Я был прикован к обстоятельствам,

которые оставались сильнее меня: раз бьют, ты должен принять. А если откажешься — ты, именно ты во всем виноват.

Тюря воткнул мяч в песок, нетерпеливо отодвинул болельщиков и разбежался, чтобы вложиться в удар. Нога его взметнулась к небу, Тюря нелепо взмахнул руками, чуть подлетел и с силой хрястнулся о землю.

В тишине, которую не посмел нарушить ни один из парней, раздался мой громкий смех. В нем не было торжества. Я всего лишь заметил развеселившую меня мелочь: кем бы ни жаждал быть человек, он всегда падает очень бессмысленно, в полной своей биологии, как живое, которому больше не за что зацепиться. В падении становишься одинаковым, неотличимым от всех, что злит, ведь все силы ушли на поддержание разницы, а ее растеряла обычная шкурка или шнурок.

Этому я смеялся, а вовсе не тому, что ненавистный Тюря так потешно упал.

С леденящим запозданием я понял, что Тюря не простит прилюдной насмешки. Он с ненавистью смотрел на меня, но встать не мог, так здорово навернулся. Из куртки выпал нож. Тюря стонал и не отводил злого взгляда. Хуже того, на меня со страхом смотрели остальные ребята — кто поумнее, уже спешил за портфелями. Никто даже не попрощался, будто меня снесли на кладбище. Подхватив рюкзак, я унесся домой.

Стоял поздний апрель. Я мучительно высчитывал, смогу ли отучиться в школе еще целый месяц, и приходил к выводу, что нет — не смогу. Не у крыльца, так у подъезда. Не по дороге домой, так по пути за продуктами. Тюря выследит меня и рассчитается за насмешку. Ему как раз нужно было что-то серьезное, по-настоящему кого-нибудь пропороть, ведь вымогательства, потасовки, ларьки — это все не о том. Своим становаются через кровь, и Тюря обязательно зарежет меня. Я был в таком отчаянии, что думал рассказать все отцу, но потом представил, как батя хмыкнет, пойдет разбираться с «этим твоим Тюриным», а тот все не хулиган, отобравший пюрешку, а готовый маленький зэк, он хочет и должен сесть, поэтому истыкает моего отца, и он истечет взрослой недоуменной кровью.

Поэтому я молчал, когда мог — притворялся больным. Прогуливал. Иногда на домашний звонили друзья, которые шептали, что в школу приходил Тюря, он искал и отвешивал оплеухи, и классуха тоже собиралась звонить, и я представлял, как разгневанная мать отправит меня в школу, не зная, что отправляет меня на закланье.

И ладно бы мела пурга или стоял черный пустой мороз! Была весна, и в городе взрывалась сирень. Запах был так нежен, что сентиментальным делался мир. Углы домов расплывались, ничего не могло поранить и зацепить. Даже небо вымыло до сокрушительной синевы!

А мне предстояло обязательно умереть.

Я знал, что здесь не поможет кулак. Тут железо нужно, как в глазах прадеда, и я сидел под его портретом, выпрашивая необходимую смелость. Но предок молчал, он давно ушел в черно-белое, а я был один среди

громкой беспардонной весны, настолько ошеломительной, какой она может быть только в грязном заводском городишке.

Когда я больше не мог скрываться и все-таки отправился в школу, меня догнал Пяточка. Остановив шумный велосипед, он выпалил:

— Тюря в тюрячку попал!

Покуда я прятался, Тюря порезал случайного прохожего. И вроде лежал в больнице один человек, обживал шконку другой, но на меня обрушилась такая нестерпимая радость, что я был счастлив сразу за всех. Я чуть не поцеловал Пяточку в белый шрам на губе, и переросток еще долго гоготал, пока я бежал на впервые желанный урок.

Свобода!

Когда Тюря попал в кутузку, я впервые ощутил полную независимость — я мог ходить в школу, ходить по улице, мог спать и мог есть. Я мог обыденное, соседство с которым и было той настоящей свободой, которую способен обрести придушенный человек.

Я испытал то благостное неведение, в котором человек счастлив свои первые годы — еще до осознанности, без «что было и будет». Я помню ту неизбежную вспышку — как бегу к горке, чтобы забраться на ее длинный язык, и замираю, понимая, что теперь тоже живу, что отныне мир будет разворачиваться последовательно, без урывков, и я застыл в его отправной точке. Еще нет ни одного моего предательства, ни одной нанесенной обиды, только горка спустила язык, и я пытаюсь залезть по нему, ведь если залезу, то чистым проживу навсегда. Но раз за разом я скатываюсь во двор, в жизнь, которую только что осознал. Я как слово, которое не забрать. Я плачу, и мать спешит ко мне, думая, что я поцарапал коленку.

Нет, маменька. Не коленку.

Во дворе под остроконечным мухоморным грибком стояла песочница. Мать не любила, когда я там копался, потому что соседка брала оттуда песок для кошачьего лотка, а потом высеивала его обратно. Мне нравился комковатый пахучий песок, в котором всегда что-то кололо руку, и хотелось знать — что.

Другая женщина, настолько одинокая, что у нее даже не было имени, считалась во дворе сумасшедшей. Бзик ее был простым — каждому мальчику она пыталась всучить немного свежих конфет. Брать их строго-настрого запрещалось, но мы тайком хрустели шоколадными вафлями, и в них не было ни яда, ни помета, ни бритв.

— Балуют тебя? — всегда спрашивала сумасшедшая.

Если кто-то отвечал: «Нет», женщина хмурилась и говорила:

— Это очень зря.

И выдавала пару цветастых конфет.

Тем, кто додумался ответить: «Да», женщина конфет не давала:

— Это хорошо. Мальчиков надо баловать.

На девочек дама внимания не обращала.

— Вам не нужно, — говорила она.

Наевшись конфет, мы раскручивались на карусели до космических скоростей, от которых подшипник истеряся, а карусель превратилась в стол. На нем играли, обменивались, вечером — пили. В начале двора была пустая бетонная площадка: раз в пару дней туда приезжал мусоровоз. Я караулил грузовик у форточки и кричал: «Мусор приехал!» Неподалеку гремели качели, чьи цепи можно было намотать на перекладину. Высшим шиком считалось сделать солнышко. Как это бывает, стремление к нему часто оканчивалось падением. Была даже театральная сцена: на высоких столбах, сложенная как колодец из спичек, сцена эта скорее озадачивала, чем влекла, и лазанью по ней предпочитали обычные лесенки. А с краю, в пыльных зарослях бергамота, притаилась крапива. Она росла так, будто с отчаянием знала — не жалилась бы, меньше б срывали, и прятала похожие листья среди мохнатых цветов.

Во дворе жил мой лучший друг Вадик. Мы дружили в городе и на даче. Дружба эта была так крепка, что я ничуть не обиделся, когда Вадик не помог с Тюрей, — я не имел права подводить друга под нож.

Вадик постоянно обменивал во дворе то вкладыши, то машинки. Его рано перестали удовлетворять денежки из сирени, и в жажде наживы Вадик подбил меня перетереть листья клена. Он хотел выдать их за сушеную коноплю и продать парням постарше. Мы не подозревали, что дурманящие снопы сушились за школой на столах для пинг-понга и наша мелкая розница никому не нужна. Обман был раскрыт, а кленовая труха оказалась выважена Вадику на голову. Он божился, что именно тогда, вдыхая тертую кленовую взвесь, придумал схему, которая сделала нас дворовыми богачами.

Вадик предложил наладить мастерскую по изготовлению рогаток. Ножовкой мы поспиливали в округе все кленовые вилки, Вадик стащил из семейного гаража расходники, и, устроившись в покинутой голубятне, мы начали производство оружия. Отец долго не мог поверить, что на рогатки был спрос, — он полагал, дети варганят их раньше, чем начинают ходить, — но каждый день к голубятне выстраивалась очередь сорванцов, желающих оттягивать к уху резину и далеко пускать камешек.

Выручку мы тратили на детскую ерунду, которая проедалась вместе с обладателями рогаток в той же выпачканной голубятне. От трупикив голубей пряно тянуло грибами.

Когда дело развернулось и настала пора первичного разделения труда, к нам пришел совсем мелкий паренек, который попросил какой-нибудь работы. Мы с Вадиком поручили нарезать из камеры резину. К обеду парень вернулся с целым ворохом ровных полосок. Мы заплатили. Оказалось, семья мальчика сидела без работы и голодала настолько, что не могла купить даже хлеба. Я не раз представлял, о чем думали муж и жена, когда их счастливый сын вбежал с предложением заработать на продаже рогаток. Ругались? Смущенно отводили взгляд? Или молча сели кроить резину? И ведь сделали работу, которую им поручили девятилетние пацаны, купили себе честного хлеба, поели. В этом был стыдный труд, и то, что труд может быть стыдным, — расстраивало. Пяточка, кричавший о наших

рогатках по всему району, был естественен, а взрослые, вынужденные работать на играющих во взрослых детей, естественными не были.

Самым удачным бизнесом Вадика был показ бомжа. Он нашел труп в овраге за домом и тут же устроил доступ к телу за деньги. Посмотреть на труп захотела вся окрестная детвора. Вадик стоял на склоне оврага и, когда его одаривали монеткой или жвачкой, милостиво указывал рукой — спускайтесь, он там. И мелочь была не в том, что кто-то маленький, не боясь, продавал бесхозное тело, а в том, что такие же маленькие, спускаясь в заросший овраг, промяли вокруг бездомного круг и он лежал как в нимбе, натоптанном ангелами. Если б не Пяточка, который раструбил о находке, к вечеру Вадик озолотился бы, но вместо этого его забрали в милицию. Тело бездомного, ко всеобщему огорчению, увезли в морг. Еще долго вся мелюзга пыталась выговорить это сложное, грозное слово.

Не расставались мы с Вадиком и на даче.

Дачи нарезали от завода. Участки получили сразу все, и за какой-то год изгибы тонкой желтой реки оказались разбиты на ровненькие квадраты. Сначала построились те, кто знал, где достать, затем остальные. Появились вывески с рабочими названиями: «Металлург», «Химик», «Электрик», «Прокатчик», «Монтажник». Наша дача попала в садоводство с поэтичным устремлением «Луч», хотя излучина реки, которая и дала название, обрекала на полукруг. С другой стороны садоводство подпирала широкая лесополоса, за которой гремела железная дорога. Полустанок был голый и неприютный, какой бывает только в степи. От него быстро протоптали дорогу. Редкие автомобили со временем накатали свою.

Одноэтажный дом с крохотным чердачком выстроил дед, но дача была территорией матери. Она по-крестьянски любила свой помидорный надел и с мая по октябрь пропадала за городом. Сезон начинался еще раньше, в марте, когда подоконники уставлялись рассадой. Раскрывшись лепестки ее были похожи на детские ушки, и окно напоминало ясли. Однажды Ваше Дикошарие, миска которого долго была пустой, залетел на подоконник и за секунду как ножницами обчикал все перцы. Глаза сузились: «Жрать». С каменным лицом мать пошла к холодильнику: кот был священен. В грунт рассадку высаживали в конце апреля, а в начале мая иногда шел снег, и, пока мама переживала за укрытые томаты, за окном рвался салют. Снегопад сметал его, и под тревожные всполохи где-то мерзли крошечные огурцы.

Настоящим фанатиком дачи была наша соседка, тетя Тома. Она всю жизнь хватко проработала на стройке. «Майна! Вира!» — звучала с участка древняя торговая речь. Бойкая и веселая, тетя Тома последней вешала замок на калитку. Ее можно было увидеть в марте раскидывающей снег по заждавшимся коробам и в ноябре проливающей пустые грядки. Она сама сколотила теплицу из старых оконных рам и установила лесины, по которым бросила клематисы. Тетя Тома приспособила к огороду даже грудь. По весне женщина оборачивала семена в мокрую марлечку и клала под свой выдающийся бюст, где блаженно выпревал урожай.

Подвыпив, она любила встрясти громадные перси и счастливо захохотать: «Опять пригодились, родные!» Веселость сочеталась в тете Томе с соседской обидчивостью. Как-то раз Ваше Дикошарие приперся писать в мягкую от поливов капустную землю.

— Ваше Дикошарие! Вы ко мне не ходите, ходите к Томе! — в шутку воскликнула мама.

Кот внимательно посмотрел на нее жарким морковным взглядом и поплелся к соседке. Тетя Тома в ужасе последовала за ним, а затем прокричала откуда-то из своих кабачков:

— Что ты наделала! Он же мне тут все изрыл!

С самого основания садоводства люди зорко поглядывали, не прирезал ли кто вершок улицы, но коты не признавали людских рубежей. Они устанавливали свои в истошном мяве, а люди пораженно наблюдали за тем, как хвостатые презируют их собственность и заборы. Коты обнуляли договоренности, возвращали всё в первозданный вид, и, когда они бесцеремонно забирались к нам в дом, я гладил их так, словно мир был еще очень юн.

Тетя Тома долго была уверена, что мама специально науськала Дикошария. Разубеждать ее пришлось ведром семенных помидоров. Соседка была до того мнительна, что верила всему, что могло помочь урожаю. В одно засушливое лето у нее пропал укроп, и она подкинула матери записку. Там было сказано, что приправу нельзя дарить, а нужно сделать вид, что у тебя очень много укропа и он тебе в общем-то даже не нужен, и равнодушно выбросить его на соседский участок.

Всю неделю через малину летели ошметки укропа, его семена, пряди и корни. Всю неделю приходили записки, умолявшие дать еще. И мать рвала волокнистые сочные стебли, которые опускались на зонтиках, как на золотых парашютах. И была новая неделя. И вылез укроп.

Лунные календари, сплетни с крыжовником, чудо-грабли из электрички — огород сносил эксперименты безропотно, как и остальная наша земля. На огороде отслужившие вещи незаметно меняли свои значения. Пластиковые бутылки становились похожи на женщин. Их наливали, их опустошали, наливали и опустошали, наливали и опустошали, а когда они приходили в негодность — вырезали дно. Забытые подвязки на дугах развевались, как старушечьи волосы. Старый дедов тулуп ждал вечера, чтобы погреться у костра. Только сломанное удилище все еще закидывало в небо фасоль.

По весне мама выпрашивала у деда ледобур, чтобы навинтить дыр. Через них, как считалось, лучше дышали корни растений. Дед нехотя отдавал инструмент, и мать рыхлила землю в жаркой теплице. В остальном грядки всегда копали мужчины. Женщины вынимали из земли корешки. Женские руки возвращались из земли чистыми, а руки мужчин грязными, будто земля не хотела их. По вечерам я смотрел, как мама окунала тусклые руки в тазик с водой и доставала их нежными, молодыми. А я, как ни мылил, оставался с полумесяцами под ногтями.

Первое воспоминание о даче — мать несет меня, выкупанного в садовой бочке. Вода в ней теплее июля, и неизвестный низ так пугает, что с визгом вцепляешься в бортик. Стенки поросли ласковым мхом, он нежно касается моих маленьких ножек. Это ласка совсем чужого, совсем непохожего, и бочка с темным провалом воды, где истаивают нити водорослей, кажется чем-то живым, тоже любящим всех детей.

На примере бочки отец объяснил силу малых вещей. Он отпилил деревяшку, которая легко скользила в отверстии слива. Я изрек, что надо найти другую заглушку. С этой бочка все равно протечет. Отец не слушал меня, и, когда он заполнил бочку, вода нашла выход.

— Вот видишь! — воскликнул я.

Тоже странно: я был рад пролитому и неправоте.

Но вода лилась все медленнее, вскоре иссякла в струю, а потом застыла на разбухшей от влаги затычке. Я понял все сам и стал иначе относиться к тем, кто в каждой бочке затычка. Это ведь было почетно — затыкать дыры, быть простым, ни к чему не годным обрубком, который так напитывают обстоятельства, что он может закрыть пробойну. В затычке от бочки сошлись два волновавших меня измерения: великий подвиг, которым грезил взрослые, и моя тяга к подсчету всех мелочей. Они тоже могли послужить чему-то большому и даже сделать большим, как этот старый сосновый отпил помог удержать двести литров воды.

В городе это было трудно понять, но на даче, где требовалось ловко сочетать предметы, все схватывалось на лету. В забор вставлялись облезлые лыжи. На кухне чахла ссыльная посуда со сколами. Раскрошенные кирпичи прижимали тепличную пленку. Фантики сплетались в шуршавшую занавеску. Дача была местом старости для вещей, чистилищем для тех, кого не приняли на антресоли. Дачные вещи тихо доживали свой век в сарайке, донашивались в дождь, стонали растянутыми пружинами. Сам дом от рождения был очень стар: скрипел, присползал шифером. В ветер корни близкой березы приподнимали его и чуть раскачивали, как еще одно, бывшее дерево. Я лежал на веранде и думал, что плыву в трюме смелого корабля и утром он вынесет меня к неизведанным берегам.

А за шторой, как за фатой, гудел залетевший шмель.

На зиму в город забирали все ценное. Машины не было, и мне, подростку, доверяли сопроводить до дому связку громко стучавших лопат. Отец увозил овощи. В урожайный год он так нагрузился, что кабачки начали выскакивать из тугого рюкзака на дорогу. Отец шел, не чувствуя облегчения, а кабачки выстреливали людям под ноги и вращались на асфальте, как неразорвавшиеся снаряды. Потом кабачки лежали на подоконниках и под шифоньером до самой весны. У кабачков было свойство тайно и незаметно гнить. Желтенькая спинка казалась невредимой и твердо отражала звук, но стоило перевернуть овощ, как он являл склизкое провалившееся естество. Начинало нестерпимо смердеть, и было непонятно, как кабачок смог скрыть гнилое нутро. Дед даже заметил: «Со всем как люди».

Кабачков было так много, что некоторые из них переживали зиму и вновь уезжали на дачу. Жило предание об одном счастливце, который с дачи уехал в город, с города на дачу, а с дачи в город, где величественно окаменел в окружении внемлющих ему первоходов.

В одну из зим я предпринял пыльный поход с фломастером и нанес каждому кабачку порядковый номер. Они были похожи на номера с прежних солдатских погон, и чудилось, что я собираю под кроватью верную армию. Отец сказал, что я почти роту набрал. Так я узнал про службу отца в армии. Я еще подумал, что армия — это как кабачки, в мирное время ее берегут, стараются сохранить, но от хранения она только портится.

Посреди лета воры наведались к тете Томе. Вынесли тарелки, одежду, тяпки, даже отодрали проводку. Украли шпажку с одиноким кусочком мяса, которую тетя Тома предусмотрительно накрыла тарелкой. На столе остался валяться сиротливый шматок засохшей свинины.

— С веревки трусы забрали! Да они ж в них утонут!

И женщина потешно разводила руками, обрисовывая необъятный таз. А потом и вовсе хохотала, представляя, как кто-то ночью, нагруженный вилами и трусами, в потемках бежал с дач, чтобы потом придирчиво сортировать награбленное барахло.

Однажды случайного вора поймал сторож. Он не бил его, а посадил на сутки в погреб, отпустив затем на все четыре стороны. Вор тут же отправился в милицию, которая нагрянула в садоводство. Заспанный сторож не разобрался и выстрелил в воздух, что стало отягчающим на суде. За кругленькую сумму дачники наняли казаков, которые в первую же зиму обобрали садоводство до нитки, а потом откочевали на какое-то свое тайное стойбище. Одна женщина рассказывала, что рано утром на садовой дорожке ей встретились двое мужчин, которые несли выкопанную у нее чугунную ванну. Дачница посторонилась, и, проходя мимо, воры невозмутимо сказали: «Спасибо». Еще все товарищество разом перестало сажать мак. И малина больше не служила забором.

На даче учились жить заново. Здесь не к корням возвращались, а к простейшей сцепке с природой: мотыжь — придет урожай, стучи молотком — не развалится дом. Людям нравилось слаживать, хотя бы досочку с досочкой, и ради дачи они были готовы на все. В садоводстве жил журналист, который так сильно любил свой огород, что пожертвовал ради него работой. На заводе открывался новый цех, мужчина должен был присутствовать там и дать текст местной газете, но земля изнывала от зноя, огурцы грозили повянуть, поэтому журналист отправил редактору заготовку, а сам умчался на дачу поливать драгоценные овощи. Вернулся он как раз к увольнению: из-за накладки открытие цеха отложили, хотя в газете тот уже дал продукцию.

В другой раз кто-то откопал у себя на огороде настоящий иллюминатор. Находка сгрудила вокруг любопытных соседей. Говорили о кладе, о захоронении радиоактивных отходов с завода. Чем больше освобождался от земли толстый океанский круг с мощными заржавленными болтами,

тем сильнее хотелось узнать, что он мог заслонять на глубине полутора метров. Какой-то дед успел рассказать о тайном государственном бомбоубежище, которое в этих местах копал его однокашник. Ему возражали, что никто не будет рыть вблизи от воды, это схрон с украденным с завода металлом. Когда иллюминатор выдрали из земли, оказалось, что кто-то неведомый накрыл им старую выгребную яму с пегим навозом.

На даче я впервые попробовал алкоголь.

Пиво я уже знал, а товарищи все как один, забегая в столовую в страшной дворовой жажде, тут же опрокидывали в себя рюмку с — как им казалось — водой. Я слышал подобную историю раз пять, не меньше, но что глоток пива за гаражами, что горделивая водка — это все было случайным, подаренным, а нужно было свое.

Купить лет в десять мы ничего не могли. Даже «Отцу!» не прокатывало. Украсть — не то чтобы не решались, просто это опять было не тем. Тогда Вадик пришла идея поставить бражку. Раздобыв пластиковые полторашки, мы щедро бахнули в воду свежего малинового варенья, сыпанули дрожжей («Маме!» — с перепугу сказали ларечнице) и стали ждать. Проверяли бражку раза три на дню, отпивая по кругу. Первую бутылку приговорили уже через пару дней. Вторая продержалась неделю. В третий раз поставили сразу несколько, и Вадик предложил не открывать тару, а продавливать ее. Продавится — не забродило, нельзя прожарить — готово.

Бражку хранили у меня на чердаке. Там стояла высокая напольная ваза, округлостью напоминавшая амфору. В нее мы спрятали все наши сокровища. Когда бутылки уже не прожимались даже двумя руками, решено было испить зелья. Мне хватило ума сказать, чтобы бутылку открыли не на чердаке, а на приступке снаружи. Как только крышку чуть сдвинули, ее сорвало и вверх ударил мощный малиновый фонтан. Ошалевший Вадик держал на вытянутых руках взбесившуюся бутылку, и, если бы ее жерло было направлено вниз, он мог бы взлететь в небеса. Извержение было столь мощным, что наполовину забрызгало высоченную березу. Полторашка извергла такой поток бурой хмельной тошноты, что даже обдала розы в цветнике тети Томи. По счастью, собирался дождь, который мы напросились пересидеть на чердаке, и ливень быстро смыл следы преступления, хотя запах забродившей малины еще долго витал по округе.

Следующую бутылку мы открыли в лесополосе, где и испробовали теплую сладкую бражку. Вода из колонки, варенье на простых дрожжах — мы глотали противную шипучую сладость и еще не знали, что никогда не попробуем ничего вкусней.

Разоблачил нашу брагодельню случай.

Мама захотела приспособить высокую вазу в хозяйстве, и дед полез за ней на чердак. Пыхтя, он кое-как спустил вниз отчего-то тяжелый сосуд, рывком взвалил его на плечо, но из вазы на дорожку одна за одной стали выпадать раздутые, похожие на бордовые кабачки бутылки.

Родители лишь посмеялись, а вот дед отнесся к происходящему очень серьезно. Он вообще не употреблял, поэтому наметился обстоятельный

разговор. В выходной дед отвез меня в город. Мы отправились в рабочий район рядом с заводом. Там, у оврага, где страдала чахлая рожица, дед оглядел окрестности:

— Здесь была «Голубая река».

Дед объяснил, что так раньше называли ларьки, выкрашенные доброй голубой краской. Поначалу там еще можно было купить конфеты или съестное, но потом в них все чаще стали продавать пиво, вино, водку с нехитрой рыбной закуской. Здесь, на отшибе, тоже разлилась «Голубая река». Ларек поставили после войны, и к нему стекалось много инвалидов. На деревянных каталках, на костылях, с поводырями, вперемешку с работягами и урло́й, они надирались дешевым спиртным, спорили и дрались. В ход шли ножи. Зимой пьяные часто замерзали в снегу. У столиков с липкой клеенкой, напротив нарядненьких белых рам и аккуратных плакатов, под едкий запах мочи и с требованием правильного налива, люди, победившие танки, воевали друг с другом. С годами в очереди становилось все меньше калек: ветераны полегли по овражкам, погибли в ненужном бою.

На глазах деда появились слезы. Он переживал за напрасную трату лучших людей, и я представил, как в юности он смотрел на разошедшуюся «Голубую реку», на то, как в ней гремят эмалированными бидонами и тонут в беспросветном дыму. А рядом страх за недавно вернувшегося отца — вдруг он тоже пойдет сюда, зацепится за столешницу и останется повспоминать. И теперь вот — страх за маленького меня: будто внука тоже притянет какая-нибудь река.

Рассказ деда произвел колоссальное впечатление. Он не знал, что я собираю мелочи, но, как и с садовой бочкой, воспоминание о «Голубой реке» слилось в странный союз великого и несчастного. Люди, быть может одолевшие чужую простреливаемую реку, погибли от ее разлива у себя дома. Словно в мире были вещи столь грозной силы, что одно лишь прикосновение связывало с ними судьбу.

И я был уверен, что вещи эти отнюдь не громадны. Напротив, они очень просты.

Совсем крохотным я ходил с мамой на рынок. В большой палатке, где осыпались горки орехов, изюма и чернослива, мне так захотелось попробовать кураги, что я тихонько взял из кучки маленькую, похожую на ушко курагинку. Я спрятал ее в кулачке и сжал так, что из нее выступила сладкая влага, которую я слизал дома за креслом, нарушив в тот день еще один закон — мыть руки. Естественно, на рынке можно было взять и бесплатно попробовать эту злосчастную курагу, но я не знал, что так можно, а значит — украл и похитил, сделал тайное и нехорошее, и не потому ли так вкусна была та размякшая абрикосинка? Я был вором, который страдал от своего порока, поэтому не разжимал кулак до самого дома, чувствуя, как в курагу впитывается мой испуганный детский пот.

Именно намерение делало мелочь мелочью: я мог законно взять сухофрукт, но не знал об этом и тем совершил воровство. Но, взяв с целью

похитить, я осуществил мелочь, которая кое-что рассказала о мире. Малое и случайное вдруг заговорило о большом, постоянном.

Это был путь кураги. Так я его назвал.

Для меня он начался с рынка.

Отец называл его толкучкой. Дед — базаром. В городе все звали его барахолкой. Мать ходила до рынка через приставучий частный сектор и никак не называла его. Она молча тащила тяжелые сумки. Их обнюхивали собаки с закрученными хвостами. Подбегали смуглые ребятишки, предлагали «донести» и хватались за ручки, мать устало отгоняла их, а я, которому доверили легкий лук или выпрошенную шоколадку, стыдился, что не могу помочь и не могу защитить. Как только появились большие магазины, где нужно катать тележку, мать забыла о рынке как о страшном сне, но взрослые по старой памяти всё ещё наведывались на барахолку, хотя там не было ни дешево, ни свежо.

Барахолка привлекала близостью к жизни. Старьевщики торговали прямо с бордюра: на картонках лежали угловатые гаечные ключи, бу-дильники, пластинки, плексигласовые дверные ручки с розочкой, педали велосипедов, елочные игрушки, шнурки. Товар можно было пощупать: примерить цветастое платье, в пенсионерских рядах угоститься смородиной или сбросить высокую цену до такой же, как в магазине. Люди шутили, обменивались, заключали сделки и шли в ближайшую чайхану, где пили душистый, совсем иноземный чай. Всего за одну монетку можно было взвеситься на напольных весах. В лужах между развалами приятно прогибались доски. Недоступно пах шашлык. Рядом с раздутым полосатым арбузом сох нож в толстых бумажных ножнах. Когда продавец рас-секал ягоду, с пропитанных соком газет взлетал рой потревоженных мух. Однажды улыбчивый южанин вытянул из арбуза яркий клин и протянул мне попробовать, и я увидел, что вместо черного спелого семени в выемке, у аленькой сердцевины, запеклась муха.

Дед любил выбирать арбузы: он сжимал их до сочного хруста, подкидывал и ловил, задорно прокатывал ягоду по широким плечам, оглаживал хвостик, выбивал указательным пальцем спелую дробь и все равно получал розовый бледноватый арбуз. Мне нравился в арбузах их первый кусок — глубокий, похожий на удар до самого сердца, треугольник красной бархатной плоти. Он напоминал мне флаг сказочного заморского государства.

Всеобщая вера в рынок стояла на том, что там продавалось натуральное. Слово «натуральное» произносилось с трепещущим придыхом, в котором содержалась страсть человека ко всему чистому и неиспорченному. Никого не смущало, что натуральное мясо выволакивали из грязных нагретых фургонов, а потом рубили на темной, пропитанной кровью колоде. Или что натуральные овощи были беспорядочно навалены в затхлом, кишачем крысами складе — я сам видел, как из него выползла огромная усатая тварь и, не обращая внимания на людей, вперевалку пошла ла-ла к луже. В другой раз я с любопытством заглянул в совок, который нес к помойке усатый дворник. В совке лежал порубленный на куски грызун.

Его бросили псам, и те с визгом передрались за останки. И это тоже было вполне естественно. В котлах без крышек пух плов. Тяжелые мутные запахи оседали на прилавки. Продавцы заученно стирали брызги от проезжавших тележек. Все это видели, но считали естественным, той истинной жизнью без прикрас и обмана, в которой только и водится настоящее. Главное, что мясо было деревенским, а не той водой, что продают в магазине. И овощи без химии, выращенные на земле, хотя от выбросов с завода в трубочку сворачивались гордые листья тополя.

Рынок был как поход в настоящее. Туда отправлялись ради прикосновения к подлинному, и пусть оно пахло, уступало в качестве и стоило безрассудно много, люди переплачивали не за товары. Неудобства были платой за истину, и совершенно не важно, что она связывалась с прозаическими вещами вроде петрушки.

Ходили на рынок все равно не за ней.

Как-то раз мать покупала выпечку. На высоком прилавке пышно громоздились ватрушки. Я месил жирную хлебную кашу, в которой застревали толстые голуби. Продавщица перегнулась с плюшками, но, увидев меня, отпрянула и как-то даже обвинительно воскликнула:

— Так вы с ребенком! Что же вы сразу не сказали!? Сейчас я вам нормальных дам!

На рынке, как в сказке, нужно было знать правильные ответы. Там обманывали, но обманывали по уставу, и, если знать его, продавец обязательно уступал. Это была такая же точная наука, как физика. Мать носила с собой безмен, на крюк которого подвешивала яблоки и картошку. Я завороженно следил за колдовством над весами, судейские чаши которых зачем-то уравнивали гирьками. Такие же весы стоят в обителях древних богов, где перышком вымеряют человеческие грехи. Еще меня поражали счеты: громкие, с деревянной, как у картины, рамой, на них хотелось сесть и скатиться с горки, чтобы во все стороны отлетали веселые костяшки.

Лет в двенадцать я стал ходить на рынок самостоятельно. Мать выдавала список, где значились не продукты, а продавцы. Напротив стояли условные фразы: что именно, кому, от кого. Я будто бы шел на контакт со связными, и было страшно — вдруг они сдадут меня большим нагловатым бандитам в спортивках, знакомством с которыми хвастался Тюрят. Но продавцы отмеряли и взвешивали. Пароли подходили ко всем лоткам и открывали мне ту сложность ведения домашнего хозяйства, которой нет, когда ходишь по магазинам.

На выходе с рынка я надолго застыл у музыкального киоска. Руки онемели от сумок, голова — от мелодий, а я все не мог отойти от ларька, чьи окна забили торцы кассет. Как с пиратского корабля, оттуда доносились лихие, бесплатные песни. Каждая коробочка за стеклом была нужной: всех их поставят в приемник, по всем пробежит взгляд. Не музыка зачаровала меня, а то, что даже такой товар, как кассета, жил на рынке для нужности. Он счастливо отражал настоящее солнце и был доступен для взора. Киоск стоял нараспашку, музыка его опрокидывала ряды, и я вдруг

понял тайну базара — на нем не было безвестных вещей, того, что никто не купит и никому не потребуется. Ничто не будет годами стоять в витринах, ветшать и пенять на судьбу. Все бесхозное заведут в оборот, ведь даже та порубленная крыса досталась голодным псам. На рынке было невозможно пожалеть товар, он был счастлив и нужен, а в магазине товары чахли, их хотелось обнять и сказать: не грусти, ты тоже кому-нибудь пригодишься.

Это была очень важная, судьбоносная мелочь. Понимание, что все в этой жизни можно сберечь, а мир все еще устроен так, что вещи встают в нем стык в стык.

Я шел домой окрыленный и, если бы не тяжесть поклажи, взлетел бы в ясное голубое небо.

А когда я проходил овражек, где с косых домов потихоньку съезжали крыши, сумки с продуктами отобрали ловкие черноволосые парни. Они подросли быстрее меня, под южным злым солнцем, но я ничуть не обиделся, ведь путь кураги требует жертв.

Мое маленькое воровство вернулось схожим, чуть подросшим поступком. Мы все были участниками эстафеты, которые передают палочку и получают ее в ладонь.

Тем же летом мне довелось совершить спасение мелочей.

Это была пора, когда проявляется первая власть. Под первую власть ищут маленьких. Маленькие были на даче. Нас с детства пугали клещами, и мы таскали взрослым всю живность на опознание. Тащили даже стрекоз — ну вот это ведь клещ?! Одной из игр было подкармливание крестовиков — требовалось всунуть в паутину с нахохлившимся пауком муху и почувствовать, как он забирает ее себе. Еще в мае все искали пустое осиное гнездышко. Гнездо изящно носили на голове, и если в мире должны были остаться короны, то лишь такие вот невесомые, для детей.

Кто постарше — делали на лето муравейник: брали штык мурашистой земли и стряхивали ее в трехлитровую банку. Муравьи обустроивались в банке, прокладывали ходы, принимали спускаемых сверху гусениц и травинки. Вадик пошел дальше всех и вставил в банку трубку, которую спустил в ванночку. Туда он насыпал еще земли, сделал озерцо, посадил червей, сорняки, жужелиц, пауков. Сверху он закрыл все прозрачной пленкой. Муравьи выбирались по трубке, охотились на просторе, несли из ванны добычу, деревяшки, хвою. Они жили так, будто их не похитили у природы, будто это все еще настоящий мир, и было интересно, считала ли колония безумцами тех муравьев, которые вскарабкивались на бортик и смотрели за край ванны.

На зиму взрослые не разрешали забирать муравейники, и городки вытряхивали на уже каменистую землю либо оставляли в укромном уголке, капнув на прощанье сгущенной. Это было то сочетание стыда и ответственности, от которого избавлялись мелкой подачкой. «Я сделал, что мог», — и в банку, откуда не выбраться, вкладывался запас пищи, чтобы муравьи умерли не сразу, а чуть погодя.

В июне дачи осаждали бронзовки. Они копались в распутившихся цветах, особенно в пышных пионах и бесстыдных ирисах. Спинки с зеленым металлическим отливом не привлекли бы нашего внимания, если бы мой дед не пожаловался, что бронзовок — он назвал их цветоройками — нужно отлавливать, ведь они портят урожай. Он распылял по саду раствор медного купороса, и его оседающее облачко закрывало древнюю историческую обиду: изгнанная бронзой медь отвоевывала свое.

Глядя на бронзовок, Вадик ожидаемо сузил глаза. Он куда-то смотался, вернулся и поймал насекомое. Затем склонился над ним, колдуя свободной рукой, и разжал пальцы. Жук недовольно расправил жесткие крылья. В воздухе натянулась ниточка, и жук присел на ладонь.

У всех присутствующих разом вспотели ладошки. Следующий час мы носились по огородам, пытаясь поймать бронзовку и привязать к ее лапке нитку. Затем важно вышагивали по дачным тропкам, а над нами гудели насекомые. Они кружились, садились отдыхать на штакетины и траву, но мы осторожно тянули за ниточки, и жуки поднимались в воздух на тонком, невесомом для нас поводке. Кто-то привязал к пальцам аж несколько ниток, и над ним жужжала целая стая. Все шутили: «Смотри, унесет!» — и парень подпрыгивал, делая вид, что его приподняли.

Я тоже нашел бронзовку. Мой жук был в малине и сучил из завязи толстыми лапками. Оказалось, на них можно легко затянуть узелок. Для надежности целых два. Пальчик чуть дергало в небо — как и все жуки, бронзовки сильны, но им, как и всем, не совладать с человеком. Было приятно ощущать столь малую силу: если чуть сдавить жука в кулаке, изнутри его распирал настоящий атлет.

Целый день наша ватага забавлялась с бронзовками. Мы даже отправились за лесополосу, в поле, чтобы подкормить питомцев цветами. За железку садилось добродушное солнце, и алый луч отражался в зелени спинок. Иногда нитки путались, сближая людей. Мне было весело, я гордился своим жуком. Мы выгуливали домашних воздушных животных, а ведь воздушных домашних животных нет. Я думал, наиграемся и отпустим. Мы всего один денек взяли, кому от этого плохо?

Это позже я понял, что для жука и день — много.

Но Вадик вновь сощурился и сказал:

— Ночью их нужно привязать пастись в цветнике.

И все побежали вниз, в темное уже садоводство, и бронзовки не поспевали за нами, как летучие змеи в безветренный день.

Вадик не был злым. Он был хуже — изобретательным. Про бражку ведь он придумал. И про бомжа. Он хотел встать поутру, отвязать своего жука, будто собаку отвязывал, и новую затеять игру.

Ужас был не в том, что бронзовок мучили или лишали их жизни. Дед вообще стрескивал их большими фабричными пальцами. Бронзовки не понимали случившегося: они блуждали, не зная о нитке, и вдруг упирались в воздух. Жуки возвращались в ладонь, внимательно ползали там и вновь отправлялись в полет, который был столкновением. И вот ночь,

нет рядом этих быстрых больших существ, но что-то опять возвращает назад, и вместо того, чтобы затаиться или поест, бронзовки раз за разом чертят прямую — туда, от крыльца.

А главное — жвала могли перетереть поводок, но глупый квадратный жук раз за разом натягивал его.

Это было невыносимо. Я решил действовать.

До ночи я слонялся между участков, примечая, где именно припарковали жуков. Хитрее всех опять поступил Вадик — он завел бронзовку вглубь огорода, под раскидистую ранетку. Остальные бросили невольников в цветнике, привязав нитку к чему угодно — железкам, скамейкам, даже дельфиниумам. Дело осложнялось тем, что участки все чаще огораживали рабицей, хотя раньше посадки защищали две провисающие лесины.

На даче был только дед, и я, взяв нож, за полночь улизнул с веранды. Даже старую обувь надел, опасаясь оставить подозрительные следы. Я крался под полной луной, и тень моя была воровской. Хотелось спрятаться от этого злодейского света. Кто вообще придумал, что луна красива? Она щербата, у нее есть синяки.

У нужного огорода я шустро перелезал забор, пригибаясь подбегал к плененной бронзовке и рассекал кандалы. Приходилось брать у самой лапки. Иначе жуки обязательно на что-нибудь намотались бы. И опять не поняли бы, что случилось.

Очень не хотелось, чтобы кто-нибудь в мире не понимал, что случилось.

Все шло гладко. Притормозить пришлось близ Вадика. Его семья первой покрыла свои сотки отличной ячеистой рабицей. Мало того, каждую секцию притягивал к земле толстый штырь, а поверху шла колючая проволока. Через соседний участок было не подступиться. Оставалось идти через калитку, надежную, как ворота ада, и такую же скрипучую. Она завинчивалась Вадиком на гайку с болтом. Металлическая, проржавевшая от дождей, при открытии она издавала такой стон, что Вадик единственный из дачных пацанов даже не учился свистеть — все и так знали, когда он выходил гулять.

Неприятностей добавляло и то, что у Вадика был крайне сварливый дед, который до того скупно относился к вещам, что, когда мой отец попросил мастеров, тот несколько часов стоял над душой, беспокоясь за свой инструмент. Толстый, с оглушающим садоводство чихом, Наумыч не без пользы для себя проработал на заводе снабженцем. Он первым обставил участок и выстроил большой двухэтажный дом. Наумыч часто произносил страшное слово «обскубать» и обладал флегматичным гневом — мог долго таить злость, а потом разродиться ударом. Когда приехавший покупаться Пяточка огоготал всю излучину, Наумыч вышел на уступ, держа за спиной руки. Он внимательно вслушивался в оголтелый Пяточкин ор, а как только парень выбрался из воды, достал из-за спины вилы и проткнул ими горку его одежды. В другой раз пенсионер сманил хлебом выводок

молодых утят. На это у Наумыча ушла уйма времени: вся возможная прибыль того не стоила, да и куркуль вовсе не голодал, но он все равно запер доверчивых уток в сарае. А ведь это были первые годы, когда на уток смотрели с нежностью, без желания съесть. Пока тетя Тома опрыгивала на кочерге грядки и закладывала в кротовьи норы селедочные головы, Наумыч брал заточенную лопату и на долгие часы замирал в теплице. Как только из норки показывалась любопытная морда, старик наносил удар.

И вот в это логовище я должен был ступить, чтобы спасти бронзовку.

Хуже всего было то, что я не просто струхнул, а попытался себя оправдать. Я освободил всех узников, кроме единственного, и на этом можно было успокоиться. Жуком меньше, жуком больше — что с того, если каждый день их травят сотнями? Шанс попасться был очень высок. Из-за одного насекомого насмарку могла пойти вся операция — в отместку ребята наловят еще больше жуков, умножив чужие страдания. Сам не зная об этом, я вывел полезненькую философию, которая сразу же показалась мне так подла, что я начал отвинчивать гайку скрипучей калитки.

Я наизусть знал соседские огороды, кроме огорода Вадика. Все объедали друг у друга иргу, но к Вадику было нельзя, там бдил Наумыч. Все лущили горох, а Наумыч даже засохший стручок клал в мешок. Он падал и ту запрещал относить! Не знать, какая на вкус ранетка у друга, — о, вот истинное разочарование.

Я сразу запутался в лабиринте высоких грядок. Мерещилось, что Наумыч совсем рядом, стоит в тени дома, где страшно раскрыты ставни, и рассматривает крадущегося меня медленным взглядом удава. Я даже не догадался проверить уборную или бросить камешек в парник, где мог притаиться сосед. Хотелось скорее отвязать бронзовку, ведь мог проснуться мой собственный дед. Плюнув на все, я пошел прямо по грядкам, только усугубляя возможность поимки.

Луна нежно омывала ранетку. Под деревом была воткнута палка, на которой замер уставший жучок. Я уже готов был со всем покончить, когда от хлопка входной двери совершил блистательный кувырок в крыжовник. Этот прием никогда не давался на физкультуре, но в ночи, на чужом огороде, как тать с ножом, я чудом миновал все колючки и залег на дне дренажной канавы. Уйти на соседний участок не представлялось возможным — Наумыч отгородился и от него тоже, и я видел, как пенсионер медленно бредет к ранетке.

Очень подначивало убежать: со спины Наумыч ничего бы не разобрал, но потом он будет ходить на все наши дачные игры, стоять поодаль, рассматривать нас и все чаще останавливать взгляд на мне. Поэтому я застался и ждал.

Наумыч подошел к палке. Надсадное старческое дыхание выровнялось. Раздался треск лопнувшего жука. Осмелившись приподнять голову, я увидел, как в лунном свете Наумыч делал странные пассы руками. До меня не сразу дошло, что он сматывает нитку. Затем пенсионер повернулся и неспешно побрел домой.

После хлопка я полежал еще минут десять и только потом выбрался из канавы. Осиротевшая палка странно торчала под отцветавшими ветками. Почему Наумыч оставил ее? Крохобор, он даже нитку решил не бросать, а уж палка где только не пригодится! Завинчивая гайку, я понял, в чем дело: Наумыч не мог расстроить любимого внука, но и не мог допустить, чтобы бронзовка покушалась на яблоньку. Мало ли что там наест. Он дождался ночи и убил жука, сделав вид, что тот отвязался и улетел. Эта дотошность была так удивительна, что я перестал дрожать. Он даже в уборную не заглянул, не стал облегчать организм. Наумыч не совмещал вынужденное и необходимое, не делал походя, заодно. У него была четкая цель: убить вредителя. Операция Наумыча по уничтожению бронзовки была еще подготовленнее моей!

Это, конечно, поражало.

А на веранде ждал мой собственный дед.

Я так и вошел, с ножом в руке, и сквозь сумрак, где часы вызеленили полвторого, повстречал дедов взгляд.

Не буду пересказывать наш разговор. Трудно передать череду детских всхлипываний и коротких вопросов, но, когда я объяснил, что нож нужен был, чтобы отрезать ниточки у бронзовок, потому что на ниточке можно держать только шарик (и то если ему не обидно), дед крепко, по-военному, обнял и с уважением пожал руку.

Дед видел, что я ушел из дома с ножом. Поэтому оделся в цивильное, подготовил деньги и документы, сел на продавленный диван, стал ждать. Дед решил, что я употреблю нож по прямому назначению, кому-нибудь наконец отомщу, и принял это как правду еще одного мужика. Мать, к примеру, первым делом подумала бы, что я взял нож резать закуску, и по возвращении требовала бы: «Ну, дыхни». А деду это даже в голову не пришло. Он не то что худшее вообразил... а правильное, как бы даже единственное. Он отпустил меня в неизвестность, потому что так принято у мужчин — брать лезвие в ночь. Нож был нужен для важного, кровавого, а значит — нельзя мешать. Можно только предугадать последствия, и дед уже собрался ехать в город, в милицию. Он даже достал дачную аптечку, уповательно пахнущую нашатырем.

Это впечатлило сильнее, чем жадный обман Наумыча. Здесь опять было что-то природное, какое-то смирение перед роком, понимание человеческих мотивов как неодолимого закона вселенной. Раз катастрофа наметилась — ее не избежать, можно только собрать чемоданчик.

Подобно моему деду, который сложил все необходимые вещи и сидел в темноте веранды, народ так же молча ждал неизбежного. Люди той поры принимали худшее за неизбежное и не боялись его, а к нему готовились. Уметь сражаться, обязательно упластаться на огороде, отморозить что-нибудь на рыбалке, даже по математике чтоб были пятерки — подвиг был необходим, потому что все приняли страшное, а с ним можно жить только вот так, на полный износ. Поэтому страха не было. Вместо него было ожесточение — и не к слабым, а к тем, кто все знал, но все-таки не готовился.

Нужно было быть начеку, как в доисторические времена, когда к потухшему костру мог выпрыгнуть саблезубый зверь. Когда мама лежала в роддоме, ночью поодаль слонялись страждущие мужики. Они стучались в окна, протягивали смятые деньги, а затем распахивали плащи. Соседка по палате, внезапно родившая двойню, зарабатывала так на неожиданного сына. Мужчины бродили под окнами, как хищники, не способные напугать. Мама жалела их, а они платили, чтобы в них не видели травоядных.

Маленьким я прибежал к отцу прокричать, что Пяточке в ладошки написали хулиганы. Отец удивленно спросил: «Зачем же он подставлял?» Я замер: как зачем — потому что попросили, потому что страшно, потому что про шутку думал... Но на «зачем» не ответить «потому что», его в принципе не объяснить. Зачем — значит, не для чего, не было в этом смысла, совсем как надеть вечером короткую юбку, сесть к кому-то в машину, трясти денежками в кабаке или ковшиком сложить ладошки, когда урла пообещала налить.

Со мной тоже так было. Вон как в школе, когда отец недовольно вертел мой кулак. Он, разумеется, не за себя стыдился и не того, что я прадеда опозорил, нет — отец переживал, что я не готов к жизни, что не смогу ответить на то, что однажды высунется из нее и убьет. Он опять говорил это слово, но мне казалось, что жизнь не убивает, а гасит, затаптывает, оставляет тлеть. Так обращался в изгоя мой одноклассник: год за годом его тушили тычками и оскорблениями, он становился тише, незаметнее, пока полностью не потерялся в свой день рождения. Я заглянул в пустой класс, где изгой торопливо раскладывал угощение — две разных конфеты. Изгой клал их даже тем, кто смеялся над ним. Конфеты не могли заставить его полюбить, но и не положить он не мог, и было это так правильно и неправильно, что понималось — жизнь. Дома я разыскал закатившуюся за шкаф карамельку. Она лежала там много лет. Мне было грустно, что она одна. Я развернул ее и съел.

Конфета была благодарна.

С конфетами мы ходили на кладбище. Ходили к прадеду и прабабке, к двум бабушкам и одному деду, к двоюродной тете, папиным однополчанам, начальнику цеха, разбившемуся на машине другу и еще к крестному. Ноги мои вязли в тяжелой суглинке, и я малодушно делил покойников на своих, к которым надо зайти, и папиных, к которым надо одному лишь ему. Отец подходил ответственно: в сумке лежал совок, грабельки и конфеты, а еще душисто пахли нарезанные на даче нарциссы, желто-нежные, заранее умершие цветы. Мы подбирали мусор, сносили его к переполненным бакам, оставляли на столике кругленькое печенье. Оно напоминало монетку, которой можно за все заплатить.

За работой отец рассказывал об усопших. Прадед в девяносто лет разгружал телегу с мукой, а разгрузив, сел под дерево и умер. Это была богатырская смерть, в которую даже не сразу поверили: звали обедать, потом недолго трясли. Могила прадеда была самой основательной, с редким для тех лет мрамором, и мне было жаль ржавые пирамидки со звездами,

которые зарастали сочным, мясистым папоротником. Пирамидки были из того же покоренного железа, которое умершие остановили своими руками. Когда-то они равнялись на солдатский памятник со штыком и шлемом, но монумент зарос, пирамидки нарушили строй, поплыли, будто их двигали и после смерти, и теперь выглядывали из кустов как после атаки, погибшие в случайных местах. Меня влекли эти выросшие в землю жертвенники. При всей неказистости они жили дольше, чем несущий дозор монумент, ныне скрытый разросшимся кленом. Ветки ковыряли бетон, разбрасывая мелкие камушки по округе.

Почему высокий памятник сгинул раньше простеньких пирамидок? Мемориал объяснял, ради чего погибли солдаты, привязывал ко времени и событиям, а значит, угасал с каждым днем, отступал перед временем — противником, которого еще никому не удалось победить. Куда сильнее веток, что стесывали мужественное лицо, его затирала жизнь, и было понятно — снесут, без всякой злобы и тем более умысла, просто потому, что забудут, ради чего он был возведен.

Выжить мог только тот памятник, который был чистым горем, памятник, который не был привязан к событию и мог утешить любую боль. Таких на нашем кладбище не было, но я чувствовал что-то похожее в безымянных скрюченных пирамидках, которые не славили достойное дело или достойную жертву, не возносили к солнцу каменные мечи и не несли выбитые на себе клятвы. Они выглядели как памятник смерти, времени, исчезновению — погнутые, измученные, настрадавшиеся железки, с грустным подобием настоящей небесной звезды. Пирамидки обращались ко мне и показывали ту страшную вещь, которая не могла меня напугать, потому что я был еще очень юн: всё «ради» — забудется. Останется только то, что само по себе.

На кладбище я освоил счет. Это был любопытный счет, озорной. Все время хотелось выйти за сто, и я тужился, надеялся, что тут точно получится, ну чуть-чуть еще, и почти всегда получалось девяносто семь или восемь. До ста почему-то считалось с самого низа, без вычитания века, словно проживал его еще раз.

— Вот здесь деда положим, — произнес отец.

Он указал на зазор между могилами. Было странно представлять там еще одну.

— А вот здесь меня, — отец кивнул на край участка.

Я спросил, куда денем маму. Отец смолк. Он думал только о мужской смерти, ведь первыми должны умирать мужчины. Но места хватило бы лишь для двоих, со всех сторон участок подпирали оградки. Маму не получалось никуда положить. Это так поразило отца, словно он вообще не подозревал, что с ней может что-то случиться. Взгляд его уперся в сосну. Уцепившись за скудную почву, на кладбище росли похоронные хвойные деревья. Давным-давно дед пожалел приبلудную сосенку, не стал губить, и она выросла в душистого кряжистого великана. Он возвышался над низким самосевным лесочком в память о человеке, который его сохранил.

Я не подозревал, как сильно мой вопрос изменит отца. Для него было важно, чтобы мы все вместе лежали, а нас уже со всех сторон подоткнули. В отце боролось уважение перед действующими мертвецами и мертвецами грядущими. Их нужно было совместить, но тот клочок земли, что отмерило государство, никак не мог нам помочь. Тогда отец принял простое решение. Он стал обливать дерево едкой жидкостью с завода. Сосна сбросила все иголки: могилы засыпал колкий палевый снег. Затем посыпались сухие гулкие сучья. Они были невесомы, словно сосна вернула все соки в землю. А потом отец пришел поздно, потный, в смоле и чешуйках. Он спилил умершую сосну, начиная с самой верхушки, и не сбрасывал отпилы, а осторожно спускал по стволу, чтобы не повредить захоронения. Все это отец сделал простой ножовкой, в миллионе однообразных движений, один, без взяток, шабашников и разрешений. Он не мог допустить, чтобы к прадедовой сосне прикоснулся кто-то другой, но и не мог оставить ее, иначе на участке не уместились бы все.

Он еще годами разрыхлял ломом пень, а затем осторожно корчевал его, чуть тревожа покойников. Деду было сказано, что сосну повалило от ветра, и тот, слабеющий, всему поверил. Когда его похоронили, на участке осталось еще два родительских места.

Старики заранее откладывали похоронные деньги. У мужчин они лежали в карманах мундиров и пиджаков, у женщин — под стопкой белоснежных простынок. Это были древние лодочные монеты, они были святее, чем ордена, и когда кто-то крал их, то навлекал на себя бесчестье высшего рода. Не случайно похоронные отдавали каким-то новым, заезжим гастролерам — продавцам чудо-пылесосов, гадалкам и страховщицам, тогда как старые воры такие деньги не трогали. Одного дедова товарища обчистили до нитки, оставив только выглаженный черный костюм с нетронутыми купюрами. И находились те, кто кивал — правильно поступили, по совести.

О похоронах можно было узнать по еловым веткам. Лапник разбрасывали на дороге, чтобы душа умершего могла найти путь в иной мир. Мать говорила, что мертвые способны видеть только растения, и рассказывала, как на следующий день после похорон своей матери встретила с ней во сне. Та сажала посреди улицы цветы. Мимо ходили самые обыкновенные люди. Моя мать спросила свою:

— Что ты делаешь? Твои цветы затопчут.

А умершая ответила:

— Здесь — не затопчут.

Провожали покойника из дому. Ночь он выстаивал в комнате, перед покрытыми зеркалами. Гроб поддерживали две кухонные табуретки. Покойник пах, свечи горели, близкие жались на диване, вспоминая своих стариков. На лестничной площадке выставляли крышку гроба, чтобы каждый, проходя, знал — в этой квартире бдят.

Дед умер, когда я был подростком. Совсем недавно он отпускал меня с ножом к бронзовкам, был суровым и все еще сильным мужчиной,

а теперь лежал в гробу, расправив ненужные теперь кулаки. Он исхудал, нос стал острым, приняухавшимся. Дед растратил свое могучее тело на работу и судаков, жир его выгатаивал в горячих цехах, руки грубели от дачной лопаты. Незадолго до смерти он порывался на реку, и я принес ему в кровать ледобур, как воинам древности приносили их меч. Дед сжал его костистыми ладонями, что-то забормотал. Мне вдруг страстно захотелось котлет из судака, которые так не нравились в детстве. Я даже думал отправиться на рыбалку, высверлить лунку и добыть деду его последнего в жизни противника. Волчистую, как он говорил, рыбу.

Я сказал об этом родителям, и мне строго-настрого запретили выходить на лед. Но саму идею одобрили. Мать дала деньги, я пошел в магазин, но там, в грохочущем холодильнике, лежала совсем уж глупая рыба. С выпученными глазами и удивленным ртом, она будто не поймана была, а обманута. Это был не охотничий трофей, гордо торчавший из дедова рюкзака, а беспомощный пленник. Я не мог купить такого судака. Это было нечестно. Дед не только рыбу домой носил, но и свою отважность. Он добывал судака в борьбе, стуже подставлял лицо, а мне нужно было в варежке протянуть бумажку. Дедовы судаки были хлесткими, гибкими, они даже застывали в тугих непокорных позах, будто до последнего билась, хотели цапнуть клыкастой пастью или дать хвостом по лицу. В этом охотничьем состязании было почетно и проиграть. Я застыл у прилавка в уверенности, что, принеси я домой ненастоящего судака, дед выплюнет его изо рта, совсем как я в детстве.

Матери я сказал, что судака не было. Она попеняла: «Ну купил бы хек». Дед умер через несколько дней. Последней его едой была каша на молоке.

Последних слов я не помню.

Однажды мы ехали с дедом на дачной электричке. Я пристально смотрел за окно. По стеклу полз какой-то жучок, и снизу казалось, что он ползет прямо по облаку. Я так увлекся насекомым, что удивился дедову голосу:

— Правильно, запоминай. Когда станешь старым, тебе будет легче.

Наверное, дед имел в виду, что мне всегда будет с кем поговорить. Проживший трудную рабочую жизнь, он не успел подружиться с жучками и умер невыслушанным. По ночам на даче мы выходили к умывальнику и смотрели, как по влажному столбу ползут крохотные улитки. Может, они считали бревно деревом и хотели добраться до листьев, а может, просто тянулись к воде. Мы не вмешивались, не зная — спасать или не спасать. Улитки ползли по темному деревянному столбу, замирали на его спиле, всё смотрели куда-то. А утром исчезали с него. И мы не знали — птицы ли, прыжок ли вниз. Не знали — спасать или не спасать...

Смерть деда утвердила отца. Он и без того был главным, но теперь стал кем-то большим — крайним. Не зря это слово так настойчиво повторялось в очередях, переключках, среди служивых и отсидевших. Крайний — это о том, что правильно стоять на краю, клониться, быть

следующим. Слово соприкасалось с жизнью, как-то даже вклинивалось в нее. Быть крайним — значит быть частью, продвигаться в гущу народной к обрыву, падать со всеми, гибнуть не в одного. Крайними были те улитки и опасные, повидавшие жизнь люди. Вот и отец теперь строил жизнь так, будто следующий в семье — он.

Когда мы сидели у тела, отец рассказывал, как в моем возрасте хоронил прадеда. Дед отправил его договориться с рабочими, чтобы те выкопали могилу. Пьяные работяги копать отказались. Отцу пришлось бежать за водкой к «Голубой реке», и довольные мужики отрыли прадеду ровненькую трезвую могилу. Презиравший спирт прадед, не пивший дед, повторивший за ними отец — всех на мгновение слил алкоголь. Еще отец наставлял, что на бесхозные могилы сносят мусор, проверяя — наведывается кто-нибудь или нет. Если мусор не убирают, место со временем продают. И нужно следить, не дать себя запаршивить. Я легко в это поверил, потому что кладбище было очень неряшливым: перед тем как положить деда, мы с отцом прошлись с грабельками, нацепляли мелких людских осколков и отдельно их захоронили.

Утром гроб выносили во двор и ставили под открытое небо, чтобы мертвый в последний раз на него посмотрел. Местные приходили прощаться, выстраивались полукругом, осеняли лбы. Под ногами хрустел лапник, ветер сметал хвою. Проводы были общими, для всех знакомых и незнакомых, чтобы каждый знал, что и его проводят так, будто он жил заодно.

Потом устраивали поминки. На них никто не напивался. Так, опрокидывали рюмку, заминали ее кутьей. Только у подъезда крутились доходяги, которые ждали, что им поднесут. Отец называл их хлестким словом «пристяжь». Я вынес ханурикам бутылку, разлил в их собственные, карманные стопки, и они выпили за упокой. Смерть касалась всех, ее чтили, и никто не нарушал ее дебошем. У меня лишь попросили пустую бутылку. «Сдать», — понял я. Но отец объяснил, что, по поверьям, из пустой бутылки всегда можно вытрясти сорок живительных капель. Был даже такой обман: посильнее встряхнуть тарой, чтобы капли покрупнее разбились на мелкие брызги.

На похоронах всегда нужен маленький человек, который не замечает смерть, и по коридору со смехом носился малыш. Его не одергивали — он лечил. В прихожей сгрудилось гигантское количество обуви. Заранее страшило, что все сгниет, сносится, и надо поскорей сосчитать. Обувь особенно жалко было — ближе всего к земле. И жила она тоже по-разному: осенне-весенняя долго, остальная быстро совсем, сезон.

После смерти деда Ваше Дикошарие еще долго терся у кресла, не понимая, почему никто не хватается за жирную талию. Когда кресло занял отец, он неожиданно цапнул подошедшего кошака. Дикошарий от радости извернулся, оцарапал новые руки и счастливо улетел в гибискус.

Порядок был восстановлен. Отец продвинулся в очереди и наконец-то стал крайним. Все кошки чувствуют это.

С дедом из дома исчез кашель. Мы жили в тишине сорок дней, а потом в закрытой комнате начался долгий ремонт. Сначала мы переставили шифоньер. На гладкой поверхности старой мебели хорошо отпечатывается жизнь. У кого-то частые, суетливые, у кого-то — тихие, узоры говорили о жившем здесь человеке. Я изучал строгие дедовы прикосновения, пока мама не стерла их тряпкой.

Потом в коридор вынесли ковер, доверив мне выбить его. Я как мог отлынивал. В ковре был мой дед: его кожа, его дыхание, все то, на что распадается тело, — крошки, мысли, песок. Ковер висел у деда на стене, прямо за пружинистой кроватью, и там, где он годами дышал в него сожженными заводом легкими, расплылось черно-желтое, болезненное пятно. Дыхание подпалило ворс, он залоснился, и уродливый отпечаток напоминал о том, как сильно и бесполезно выгорает за жизнь наше тело.

У меня в комнате тоже висел ковер. В него я бил по ночам, пытаюсь освоить удар. Еще ковер был в гостиной, но уже на полу. Как шкуры, все три комнаты нашей квартиры покрывали ковры. Я любил разглядывать их странные рисунки: горных птиц, готовящихся к прыжку львов, ступенчатые пирамиды далекого континента. Мой ковер был красным, на нем пылали осенние листья и насыщенные бордовые завитки, а в центре, как в грохочущем сердце, раскрывалась пламенеющая лилия. Вписанная то ли в кленовый лист, то ли в наконечник огненного копья, лилия распускала лепестки, похожие на лоскуты снятой кожи, обнажая кричащее парное лицо. Оно хотело прорваться сюда с той стороны, и я даже запустил руку в пыльные закулисы, но не нащупал ничего, кроме голой, без обоев, стены. В другой раз я соорудил зиккурат из подушек, чтобы самая маленькая оказалась прямо у вопящего лика, и выложил на нее бесхитростные детские дары. Приняв подношения, лицо смилостивилось.

Я расчесывал лицо щеткой, вбивал в него мыльную пену и разевал рот так, чтобы быть похожим на искореженный мукой лик. Ночью, когда проезжающая машина бросала свет на ковер, тот излучал черный безмолвный крик, подтверждавший: да, там, за изнанкой, что-то есть.

Во дворе была стойка для выбивания ковров. С двумя верхними перекладинами, она использовалась нами для лазания. В ненастный день мы обнаружили на стойке оставленный кем-то ковер. У него был необычный, совсем восточный орнамент. Гогочущий Пяточка предложил отрабатывать на нем удары. Я удивился, что кто-то думает точно так же, как я. Мы по очереди били в ковер, который отвечал хлопком пыли, и отбегали, будто ни к чему не причастны. Сильный порыв качнул ткань, и я ударил в воздух так, что захрустело в локте. Все-таки странные порой бывают движения, вроде тех, когда нога вдруг встречает ступеньку.

За ковром так никто и не приходил, и мы решили на время взять его. Вадик предложил закатать кого-нибудь в ковер и спустить с пригорка в овраг, где когда-то нашли бомжа. Овраг был полон крапивы и битого стекла, но ковер должен был от всего защитить. В игре опять

захватывало — ужалит и рассечет или же сохранит? Все было похоже на те прыжки в листья, где призывно возвышался штырь.

Считалочка определила счастливец. Пяточку закатали в ковер и положили на край оврага. На дне его устало качалась забытая крапива и распушился молодой клен. Мы выстроились на склоне, откуда по вечерам пацаны постарше справляли нужду. И хотя Пяточке уже было за двадцать, из ковра донесся нетерпеливый призыв: «Ань-мань-вань!» Мы катнули сверток, но вместо того, чтобы вломиться в кусты, ковер как язык размотался и на кочке выплюнул пленника. Пяточка взмыл ввысь освобожденной птицей и смачно рухнул прямо в крапивную гущу. Звук был треский, с таким проламывают ледок. Все стояли и ждали: выберется или все-таки нет. И немного хотелось этого сладкого «нет», чтобы можно было бегать, звать, а потом снаряжать спасателей. Но кущи забеспокоились, оттуда вылез ожженный Пяточка. На лице его блуждала загадочная улыбка, будто во время полета он понял что-то, чего не суждено понять нам.

Мы вернули ковер на стойку. Никто так и не заметил пропажи.

Вскоре из соседнего дома вынесли старика. По незнакомой традиции он был завернут в ковер, и, узнав расцветку, мы пораженно шушукались в стороне. Наверное, старик доходил, и близкие решили заранее приготовить кошму. Мы играли с ковром мертвеца.

Вот и ковер деда нужно было снести на кладбище, укрыть им могилу. Я не смог объяснить это родителям, и отец, вздохнув, оттащил ковер на стойку. По двору раскатывались оглушительные хлопки, будто било одинокое артиллерийское орудие. С каждым ударом я вздрагивал, окончательно провожая деда вовне.

Ваше Дикошарие вертелся под ногами, выпрашивая, куда мы спрятали старика.

До Вашего Дикошария у нас жило сразу два кота. Я их почти не помню, но они были пушистые, похожие, как отец и сын. Только младший был совсем слабоумным, с неисправимо доверчивыми глазами. Так как все выступали за естественность, котов никто не лишал достоинства, поэтому дед через день потрясал в коридоре красным атласным одеялом и кричал: «Суки!» В эти мгновения он походил на тореадора, который остался недоволен корридой. Одеяло замачивалось в ванне и успевало высохнуть к следующему засыву.

Коты часто занимались любовью. Мать гоняла их тряпкой, а отец в шутку восклицал: «Позор, кого же мы воспитали!» После утех младший кот сосал титьку старшего. Он воспринимал товарища как мамку, которая должна накормить его. Младший даже давил на живот лапкой, чтобы шибче бежало несуществующее молоко.

Я не понимал ни притворного родительского осуждения, ни веселья. Как всякое детское непонимание, оно быстро нашло своего слушателя, которым оказался незнакомый подвыпивший мужик на скамейке. Я копался в песочнице, а пьяница одобрительно оценивал мои пушки из деревяшек

и горок песка. Он был высок, статен, с лихой шевелюрой и явно загулял случайно, от какой-то обиды.

— Там, — подвыпивший неопределенно махал рукой, — выродились все. Они как твои коты: все друг другу подмахивают. Они ничего не умеют. Только подставлять! Это наши враги! Там ничего нет! Вот я знаешь что на заводе делаю? Всё! И у тебя всё в майданчике! А у них что? У них заднеприводные одни! Понял? Они воевать не умеют!

Двигая песочные армии, я по-детски спросил, что будет, если мы сойдемся в бою.

Мужик замер. Красивое лицо выпрямилось. Он стал как с памятника солдатам — невыразимо строг.

— Если... если схлестнемся... мы проиграем.

И расплакался.

Что понимал тот пьяница, раз так говорил?

Я не хочу этого знать.

Со смертью деда изменилась дача. Огороды стали менее тесными, в них все чаще выкраивались лужайки. Мама все так же уработывалась на даче, но часть заготовок теперь выбрасывалась, и получалось, что мама напрасно расходовала себя. Собственность укрепились, и к ней пытались приучить котов — некоторых даже сажали на длинные поводки. Один из таких невольников забрался на дерево и спрыгнул — по счастью, прямо в воздетые руки хозяйки.

Мать наконец-то поставила парник из поликарбоната. Даже слово было новым, чужим для привычных теплиц и стекольников. Старый парник был из сосны, и между круглых стропил провисала пленка. В сильный дождь мама оставалась сидеть в парнике: особой палкой она приподнимала «лужицу» и сливала ее. Позже она додумалась проковырять в ячейках дырочки: простая иголочка спасла от быстрых забегов по мокрым дорожкам. С новой поликарбонатной теплицей все было иначе. Мать не могла нарадоваться покупке, но палка, та, которую я выискал в лесополосе и у которой любезно отпилил ровный, без зазубрин, конец, палка, пережившая все остальные дрова, потемневшая от времени и работы, больше была не нужна даже в качестве тычки. Ее отправили в общую кучу для печки. Было несправедливо сжечь ее, и я отнес палку обратно в лесок. Она вернулась туда, подобно блудному сыну, и кто знает, что выговаривали суку недовольные взрослые сосны.

В то же время мама очень переживала из-за теплицы. Ей казалось, что украдут, — и действительно, у соседей за ночь развинтили похожее сооружение и даже аккуратной горкой составили поликарбонат. Или что тетя Тома, охавшая и ахавшая вокруг фигуристого парника, что-нибудь из ревности с ним учудит. Или Наумыч обзавидуется. Или что град побьет. Но главным страхом стал снег. Дача стояла в речной долине, и ветер нагонял со степи много снега. Мама уверилась, что теплицу раздавит снежный покров. Она говорила об этом ноябрь, говорила декабрь, а в январе, когда от мороза ненавидишь ресницы, никому ничего не сказав, ушла

с лопатой в пургу. Отец был в ярости. Он не мог понять, почему это нельзя было поручить ему или мне, но красная, уработавшаяся мать довольно лежала в кресле. Снега было много, и снег был откидан.

История с откапыванием теплицы продолжалась из года в год. Мать говорила, что в этот раз лучше съездить мне или отцу, а утром исчезала из квартиры, чтобы совершить новый вояж. На электричке она добиралась до полустанка, шла по еле намеченному проселку, а потом пробивала дорогу через заваленное садоводство. Спорить было бесполезно. Даже если мы с отцом заранее, еще в декабре, откапывали теплицу, мать все равно отправлялась на дачу, чтобы ползком добраться до огорода. Однажды она вернулась поздно вечером и долго отогревалась в ванной. А когда смогла говорить, сказала, что на обратном пути, срезая через зимнюю целину, упала и не смогла подняться. Такая навалилась усталость, что она могла только слушать, как птицам нужна рябина.

Отец пообещал снести теплицу, хотя сам заказывал у заводских мужиков нержавеющей профиль. Мать безразлично махнула рукой, и с легким дуновением в меня влетела очень страшная и очень человечная мелочь.

Дело было не в том, что теплицу продавливал снег. И даже не в любви к даче. Откапывание теплицы было для матери ее личным ледяным походом, той неодолимой страстью, что вытолкнула людей за моря, а потом — в космос. Мать много, без всякой оценки, работала — за прилавком, дома, одна, — но всегда хотела работать так, чтобы выбрать себя без остатка, как из породы выбирают руду. Ей хотелось чего-то окончательного, такого же, как у мужчин завода, на который надо ходить как на бой, праздник и похороны, чтобы знать, что жар твоего тела не напрасен, что в нем живет принадлежность к чему-то большому и важному. Может, применительно к теплицам это и звучало смешно, но в любом путешествии важны только проделанные шаги. Когда мать торила тропу, выбрасывая вперед хозяйственную сумку, а вокруг чернели кривые, занесенные по верхушку заборы, она убивала себя в том же умопомрачительном подвиге, что и все остальные. Это было необходимо, потому что так было заведено, и помешать сему невозможно. Скорее, зимой не выпадет снег.

Я вспомнил историю от деда про его родные места. В дедовой деревне не было магазина, поэтому круглый год местные ходили в соседнее поселение. Особенно страстно ходили за водкой. Между деревнями пролегла неглубокая речка. По осени она размывала хлипкий мосток. Но водконосцев это не останавливало. Уже лег снег, а они замороженно брели сквозь него, скатывались с берега, проламывали ледок, попадали в промоины, окунались, болели, даже тонули, но все равно шли в заветный лабаз. Дед стоял на пригорке и наблюдал, как ползут по белой равнине черные точки, словно из речки выбрела на свет новая жизнь. Деда поражала пагубность такого упорства, удивительное желание простудиться и умереть. Это был бессмысленный, не требуемый подвиг, за который — даже если выжил — наградой шла смерть.

В городе еще сохранялось многое от деревни: молодняк собирался квартал на квартал, но в этих сшибках не было былого размаха

и напускного ожесточения, когда сходятся люди, которым нечего делить. Дворовая сцепка была от сохи: в одной песочнице играли и один бросали в лужи карбид. Это было городское крестьянство, общие вечерки на лавочках и колядки, а когда общее стало распадаться на частное, люди сразу отгородились друг от друга и щелкнули шпингалетом.

Если парням нужно было в чужой район, они искали для этого девушку. Существовали неписанные правила, запрещавшие докапываться до пары. Даже севший Тюря соблюдал эту нехитрую пацанскую этику, хотя ее притворство было у всех на виду.

Однажды в заводском районе ко мне прицепился тщедушный, но очень самоуверенный паренек. Он был мне по грудь, с руками как волос, даже без злобы в глазах — он лишь делал все, что делали люди вокруг. Парень требовал денег и повторял:

— Эй ты! Эй ты!

Он толкал меня и качался, будто его толкал я. Он не был похож на выпрашивающего щелчка. Никто бы не вышел из-за угла, не сказал: «Ты чё?» Парень был сам по себе, то есть попросту одинок.

На мгновение мне захотелось рыкнуть, ударить наотмашь, обязательно плюнуть, ибо слюна всегда убедительна. Он бы ничем не ответил и ничего не достал — рухнул бы в грязь, спички свои поломав. И это было так сладостно представлять, будто я поверг настоящих обидчиков. Я мог унижить амбалов. Расквитаться за всех.

Пальцы сложились в темный, нехороший кулак. Паренек все толкался, и руку тянуло, закручивало, там копился удар. Точно повесили гирию и намекнули, что избавиться от нее можно только взмахнув. Удар был концом размышлений. Он даровал правду осмелившегося. Разреши себе, перестань сомневаться, бей. В ударе все испокон равны. Вот почему народ обожал кулак — он видел в нем легкость, простую, честную жизнь.

— Ну чё ты? А? Чё ты? Ну бей, да. А? Ну?

Паренек ни на что не годился. Он был подданным кулака. И тот хотел, чтобы я присягнул, избавился от раздумий, стал большим мужиком. Меня бы зауважали. Всего-то и нужно, что отомстить. Ведь не я же затеял ссору. Не я хватался за воротник.

Рука каменела, превращалась в гранит. Я не чувствовал половину тела. Оставшуюся колотило — ну ударь же, этот шнырь сам виноват! Бей, вокруг собрались! Они на твоей стороне! Но когда рука почти занеслась, я спросил себя — был бы я так же решителен, если бы сам едва доставал до грудины? Что, если бы на месте хляка возвышался детина в тех черных спортивных штанах, ноги в которых как надутые шины? Осмелился бы я тогда? Смог? Или б вышло как с Тюрей?

Кулак нельзя было освоить через плюгавое тело. Не кулак получался, окатыш. Гладкий, без единого казанка. Я чуть было не укрепил ударом власть подвига. Слишком часто подвиг — это желание получить по лицу. Паренек нарывался, он хотел в неизбежность, и я почти поддался ему. Вот

почему он завыл, когда я пошел прочь. И чем дальше я уходил, тем отчетливее завывания обращались в плач.

Я дал себе обещание: общаться даже с самым последним заморышем так, будто бы он самый сильный на всем белом свете. Ведь с тобой нужно поступать справедливо только и исключительно потому, что справедливо нужно поступать вот с таким... Других объяснений нет. И не могло быть.

Я назвал это правило Кантик.

Мне довелось испытать Кантик подростком, в чужом, конечно, районе. Я был наслышан о царивших здесь жестоких порядках. Вокруг темнели бараки из черных слежавшихся бревен. На сараях висели тяжелые замки, похожие на морды бульдогов. Из земли торчали трубы погребов, будто там, внизу, был еще один город с угрюмым карликовым народом. Я осторожно пробирался сквозь неизвестные дворы, кляня себя за то, что вообще согласился пойти на день рождения. Перед моим уходом друг высыпал из вазочки пригоршню мелких монет:

— Если тебя остановят, залупи этой горстью в лицо и беги. Я так делал уже.

Копейки то хныкали в кармане, то громыхали, словно я нес всю городскую казну. Хотелось поскорее найти фонари, лишь бы улицу перестал освещать голубоватый свет из зашторенных окон. У кустов акации меня окликнули. Раздвинув заросли, вышел высокий парень. Он поздоровался как со старым знакомым и даже придержал ветку, чтобы я мог проскользнуть под темный полог, где за столиком для домино сидел еще один мрачный парень. Меня втиснули, предложили бутылку. Так соблюдались древние законы гостеприимства: с тобой поделились, теперь должен поделиться ты.

От желания угодить я выпил. Если вдуматься, всё в этом мире от желания угодить.

Затлел тихий обстоятельный разговор, где меня выпрашивали, кто я такой, откуда взялся и куда следую. Не важно, что я мог ответить — домой иду, к отцу на работу, к другу или к девушке, — важно, что в ответ нужно было спросить: а вы тут ждете кого или так, просто сидите? Нужно было поддерживать иллюзию разговора, делать вид, что я не пленник, которого хотят обсчитать, а вроде как желанный товарищ. В свою очередь парни выводили на разговор о братской взаимопомощи и о том, что хорошо бы позвонить, чтобы еще бухла принесли. Я говорил — дело хорошее, у кого из вас есть телефон? В ответ небрежно кивали, что телефон-то есть, но вот знаю ли я, кому можно набрать, и я отвечал, что знаю Тюрю — играли с ним в футбол, — и парни разочарованно переглядывались. Я и не думал, что Тюрю когда-нибудь мне пригодится.

Тот развод под застенчивой кроной акации был частью древней игры. Я должен был отбрехаться, что тоже мог вот так сидеть и кого-нибудь поджидать, а парни должны были показать, что они вовсе не грабители, а претерпевшие люди и мне повезет, если уделю на людское. Со мной могли сделать что угодно: избить, унижить, припугнуть, без всяких слов

обшарить карманы. Но мешал еще действующий в ту пору закон, который требовал подводить основание. С ним — можно, ибо, если подвел, ты ловок, умен и силен, а значит — достоин добычи.

Да и вообще: жестокости без сентиментальности не бывает.

Во время разговора иногда устанавливалась тишина, как в лесу, в котором водятся волки. Шла охота. Только охотились внутри сказанных слов.

Затачивший меня под акацию походил на человека, утверждавшего свою первую власть. Я был для него тем жучком с дачи. Он упражнялся на мне. Выражение его лица передавало настроение всех уголовников — опасное, хитрое веселье. Ковыряя ножом столешницу, напротив сидел парень с опущенной головой. Когда щелкнули зажигалкой, я увидел, что от брови до подбородка у него растеклось багряное пятно. Будто раскаленную пятерню приложили. В голове сразу же сложилась картинка: как только парень понял, что на лице у него печать, он забился в угол, или туда его загнали насмешками, озлобился, приискал себе компанию по уму и теперя отгрывается под кустом акации.

Я оторопел, и это стало моей ошибкой.

— Ты чё на него пялишься?

Я проиграл в дворовые шахматы и, приближая неминуемое, полез в карман. На секунду остановился — что, если бросить мелочь и рвануть в темноту? Когда они очухаются, я буду уже далеко, не только спасенный, а даже и выигравший. Мне уже приходилось бегать от гопоты, которая кричала вслед, как упустившие добычу чайки.

Мне захотелось отомстить за всех, кого панибратски берут под крыло, берут только затем, чтобы пощекотать перышком. Кантик работал, но в неожиданную для меня сторону: может быть, этот пятнистый — такой же пленник обстоятельств, как я. Когда-то давно его завлек под акацию этот высокий блатующий паренек. Он издевается над ним, пока нет других жертв, а когда те появляются — использует как приманку. Парень с родимым пятном был червем, и я заглотил наживку. И если я сорвусь, рыбак сдернет его с крючка, изругает, порвет.

Я достал из кармана купюры.

За столом хмыкнули, ударили по плечу — сразу бы так.

Я побрел домой, гремя мелочевкой. Первый и единственный раз в жизни у меня отобрали деньги. И не потому, что ножом отщелкивали щепу или давили мощные плечи. Нет, я неожиданно для себя влился в эту среду, кожей почувствовал, что именно и как отвечать. Но вот пятно этого молчаливого гопника, оно... огорошило. Оно не было уродливым или даже зловещим. Оно было обо всем говорящим. О пьющих, наверное, родителях. О косых взглядах не пьющих. О том, что твои первые мысли — не кем все-таки вырастешь, а — почему. Ну правда, почему я? Не пожелаешь никому такого вопроса. А если ты беден, если тебя не водили на плавание и не чистили тебе апельсин, выжить с таким пятном можно лишь рано сжав кулаки. Пятно загнало этого парня под тихий шелест акации, а он не смог воспротивиться — как же так, почему

у меня вместо лица половинка. И потому он ковырял доску, представляя, что рыщет внутри человека. Печально, как много может сделать с людьми эпителий!

Через много лет я увидел того парня в автобусе. С тем же родимым пятном, в приличной одежде, он вежливо уступил место женщине. Я не сразу заметил, что на лице его что-то есть. Вряд ли парня изменили выуженные у меня деньги, но, метни я тогда горсть монет, он бы точно не ехал сейчас на работу с обручальным кольцом на правой руке.

Правило Кантика не раз помогало мне на тех подростковых работах, которые связаны с улицей. Я клеил, грузил, подметал. Одно время подвизался в заводском музее, где в выходные для пожилых устраивались поэтические собрания. Туда приходил молчаливый ветеран. На войне ему проткнули штыком шею — кожа до сих пор заламывалась грубой складкой, — и мужчина мог говорить лишь очень и очень тихо. Он записывал стихи на старенький магнитофон, а затем включал его на полную громкость. Из динамиков лился свистящий шепот, слова складывались в строфы, и все слушали простые стихи о весне. Однажды магнитофон ветерана сломался, его безуспешно вертели в руках, и человек оставался безгласным, не мог прочитать то, что было у него в голове. Все собрание он просидел, прислонив крохотный динамик к уху. Как самому молодому, магнитофон дали на починку мне. Ветеран смотрел, как я возжусь с устройством. Внимательный взгляд ощупывал мое лицо.

— Сс-скоро... — просвистел он.

Я ответил, что нет, тут придется в ремонт нести. Старик покачал головой, словно я совсем не понял его. В шрам на шее затекла тень.

Моей первой настоящей работой был разнос газет. Типографская краска была дешевой, от нее сразу чернели пальцы, и я оставлял отпечатки, будто хотел быть пойманным за какое-нибудь преступление. С собой я брал порядка тысячи газет, затем делал еще одну ходку. Вскоре я сообразил, что половину газет можно безбоязненно выкидывать, а оставшиеся рассовывать с промежутком. Работа пошла веселей, тем более в ту пору еще не было домофонов, а только громоздкие кодовые двери, где нужные кнопки были отполированы годами прикосновений.

Каких только подъездов я не навиделся! С зеркалами, где торговали одеждой неясного происхождения, с пальмами в кадучке, с иконами в окладах из монет, с библиотечкой, с настоящей деревенской завалинкой, даже со зловещим рядом одежных крючочков, будто кто-то раздевался прямо в подъезде. Подъезды были расписаны, как детские поликлиники, увешаны натюрмортами и пейзажами, украшены самодельными игрушками, а перила обвивала замаявшаяся мишура. Сквозь бедное великолепие проступала обитавшая здесь нищета, но жители так мило сживались с ней, так заботливо покрывали ее вязаными половичками, что бедность воспринималась совсем по-домашнему, как коврик перед своей квартирой.

Когда я выходил из подъезда, мимо проплывал лебедь из выкрашенных покрышек, а за ним — лебеди из бутылок. На тополиных пеньках

накренились перевернутые тазы: грибы смотрели с прищуром, будто где-то в складках коры у них был ножичек. Ракета на детской площадке обещала доставить к звездам. Вместо шин была вкопана радуга. Обшарпанные стены пятиэтажек напоминали стены пещер, изукрашенных охрой. В ее узорах могучие проглядывали бизоны. На лавочке обязательно сидели одуванчиковые бабули, которые принимали газеты с радостью, как весточку от родных.

Разнос газет быстро столкнул с изнанкой жизни. Я видел старушечьи тропы к подвалам, где за решетками мяукали замурованные коты. Как своим сыновьям, старушки несли котам лоточки с едой. Видел подъезд, где в конце длинного коридора была всего одна квартира с большим-большим ящиком. Или подъезды, откуда не гоняли бомжей, и они обсаживали их, как лохматые голуби. Видел, как из дворницкой в строгом деловом костюме выходит ее обитатель. Как с балкона третьего этажа на тросах спускается инвалид. И уютную комнатку за мусоропроводом тоже видел. Даже посидел там, выпил предложенный чай.

Как-то раз я повстречал коллегу. Он был сидельцем и вместо рюкзака таскал клетчатый баул с газетами о здоровье. Жизнерадостные пенсионеры с внушительными именами советовали приобрести чудодейственные лекарства. Целый разворот был посвящен каменному елею — уникальным квасцам, бережно снятым со стен высокогорных пещер. Каменный елей лечил все существующие и будущие болезни. Им можно было обмазываться, капать в глаза, пить, даже ставить в виде свечей — каким бы образом каменный елей ни входил в тело человека, вместе с ним входила и благодать.

— Я в жизни всякого навертел, — откровенничал зэк, — но до такого не опускался. Ну не мое это пальто. Барыгой и то лучше быть. А на другую работу не берут, только седых обманывать... Я первую жизнь в шестнадцать взял. Да чем взял? Камнями. Идешь, на дороге валяются.

Он говорил об этом так, будто жизнь можно было рассыпать и подобрать.

— А сейчас вроде как поучение: заставили жизнь продлевать.

Он побрел вдоль подъездов, помахав на прощание рукой. Закинутый за спину баул напоминал сумки, с которыми следуют по этапу.

Я остался стоять под дичкой. Жирные свиристели скакали по ней и не понимали, почему хрупают веточки. Птицы были пьяны от забродивших плодов, и по весне я часто относил захмелевшие тушки в тепло подъезда. Там мне повстречалась старушка с большой утепленной коробкой. Она сказала, что собирает пьяненьких птах, а потом выпускает на волю. Кто знает, может быть, в ее птичьем вытрезвителе лечили каменным елеем.

И он — работал.

В те времена, когда народ еще искренне верил в силу самолечения, я натаскал маминых порошков, чтобы сварить зелье бессмертия. Я только-только понял, что кашель деда — зловец, и захотел всех спасти самым

доступным способом, очевидность которого казалась ошеломительной. Если духов болезни задерживала решетка из йода и уносил картофельный пар, почему их не мог изгнать порошок? Я достал из кухонного шкафчика тьмочисленные коробочки с названиями «Печень в норме» и «Изжоге нет», заварил пакетики в кастрюле и дал зелью бессмертия настояться. Отвар так оглушительно пах травами, что слезились глаза. На иззелена-бурой поверхности блестела пленка. Когда дед пришел с завода, я радостно вынес варево, и дед, узнав его природу, благодарно мне улыбнулся. Он даже выпил столовую ложку, а на требование выпить всё ответил:

— Тогда всем не хватит.

На следующий день я хотел напоить снадобьем целый двор, но мама изъяла чан с потемневшим лекарством:

— К сожалению, оно не работает.

Я с надеждой спросил, что было бы, если бы лекарство работало.

— Тогда его точно не стоило бы выносить во двор, — ответила мама.

Она обладала тем тихим безропотным пониманием, которое делает женщин сильнее мужчин. В младшей школе от нас впервые потребовали подвига: в обязательном порядке, под страхом самых жестоких взысканий, принести классной ровные палочки для флажков. Ими хотели украсить крыльцо перед приходом важного гостя. Вадик взял из запасов Наумыча нужную рейку, а когда я сунулся в их плотно набитый гараж, скопидом развел руками — еще одной реечки у меня для вас нет. Я заметался по двору, с надеждой поглядывая на клены. Но классная предупредила, что кривые палочки не подойдут — флаги с них будут понуро свисать, будто мы ничем не гордимся. Когда я рассказал о беде маме, она со вздохом достала из шкафа продолговатую логарифмическую линейку, вытащила из нее движок и протянула мне. Я благоговейно держал в руках отполированную деревяшку со шкалами, на которой, быть может, космические считались корабли и которой суждено было стать обычным древком. Это был незаметный и бессмысленный подвиг: мама отрывала очень дорогой, для института сбереженный прибор, потому что школе нужен был еще один флаг. Жертву все равно никто не заметил, и движок сгинул, выброшенный на помойку. Бесплезную линейку сослали на дачу, где долго спасали из кучи печных дровишек, а потом все равно сожгли.

Мама часто заглядывала в бабушкин сундук, а я все еще сторонился его. Тогда мама поведала мне следующую историю.

Бабушка в молодости отдыхала на юге, где познакомилась с моим дедом. Напитавшись горячим солнцем, он уже собирался возвращаться в снега и буквально прокричал свой адрес из трогаящегося вагона. И то ли у бабушки не было под рукой бумаги, то ли она хотела послать в далекий рабочий поселок южную весточку, но вдогонку она отправила письмо на широком листе магнолии. Без конверта, с пришитой на лист маркой и простым приветом.

Я с благоговением держал в руках высохший, бережно сохраненный мамой листок. Для него она выбрала книгу с самыми ласковыми

страницами. Листик был тонкий, почти не существующий, на тыльной стороне ниточки выросли в мякоть. Если повернуть за черенок, листик в какой-то момент исчезал, а потом опять появлялся, будто его творили из ничего.

Время было тяжелое, люди еще плохо ели и видели тревожные сны, не отстроены были города, и грубы руки рабочих, но хрупкий листок магнолии минул все преграды и в сумке почтальона нашел своего адресата. Государство легко пропустило листик сквозь свои жернова и даже не сломало письмо. В его механизме была какая-то нежность. Оно не только молло, но берегло.

Я родился, потому что дошел лист магнолии. И бабушка моя наверняка выращивала на улице, где «не затопчут», наши письменные цветы. На листике была погашена марка: кто-то с осторожностью поставил на нее штамп. Я выяснил, что одно такое письмо считается достоянием почты и его как реликвию хранят в музее. Но никто не знал, что у нас дома, в сундуке, в широкой плечистой книге лежит еще один артефакт. А значит, много кто отправлял похожие письма, и то, что кому-то одновременно пришла идея писать карандашом среди белых прожилок, так радовало, что я послал на свой родной адрес такое же письмо на таком же листе магнолии.

Разумеется, оно не дошло. Другая настала эпоха.

В ней знакомились без опасения проиграть, словно могли тысячу раз пытаться. Особенно усердствовал Пяточка. Сколько себя помню, он всегда пытался познакомиться с женщинами. Пяточка не видел разницы между юными и замужними, легко подсаживаясь к девочкам на скамейке или поднося материнские сумки из магазина. Пяточка не был уродом или совсем уж чудным. Он был неизвестным, о чем-то внутри задумавшимся, и это смущало женщин больше, чем телесный недуг. С тем легче сжиться, чем с тайной законопаченной думкой, которая мало ли что прорвет. Когда Пяточка скалил белые зубы, это немного пугало. Пяточку что-то смешило в мире, а мир вряд ли был сделан так, чтобы в нем много смеялись.

Летом Пяточка приезжал искупаться в садоводство. Взрослые срезали в излучине тальник и устроили пляж. Вода бежала мутная, глинистая, от нее краснели глаза и в волосах застревал песок. И хотя речка была узенькая, на середине таилась стремнина. Со дна бил ледяной ключ, от которого даже в жару сводило ноги. Заплывать туда не советовали, и все равно туда плыли все, чтобы течение снесло вниз по реке, к еще одному прорубленному в иве окошку, от которого можно было вернуться назад.

В тот день было особенно жарко, и мы, уже приучившиеся выпячивать грудь и напрягать руки, обсыхали на берегу. В компании было несколько девочек, за внимание которых состязались приемами из борьбы. На берег с гиканьем съехал Пяточка. Омеднённая проволока на спицах показывала кино. С руля сверкал катафот. Парень сорвал одежду и ринулся в воду. Тело Пяточки было смуглым, и на нем странно выделялись

белые молочные пятна. На ногах выпирали крупные жировики. Руку стягивал шрам открытого перелома.

Мы стеснялись костей и складок, как только может стесняться подросток, а Пяточке было все равно. Он не замечал своего бугристого тела, кефирных пятен на нем, родинок. Он был из корешков свит, затянут и перепутан, и главный из них как-то слишком туго натягивал серые облегачающие семейники. Пяточка не ведал стыда, был дик и природен, поэтому с воплем разбрызнул реку. Он вышел из нее ошалевшим, мокрым, еще более сопряженным и плюхнулся рядом с девочками.

— Нуль! — сказал он. И заржал.

Пяточка очень любил это слово. «Нуль!» можно было повторять непрерывно и с очень зловредной «у». «Нуль! Нуль! Нуль!» — как-то голосил он во дворе. Из окна первого этажа высунулся мужик и взмолился:

— Я тебе денег дам, только замолчи!

Пяточка посмотрел так оскорбленно, будто мужчина вообще ничего не понял, и повторил:

— Нуль!

Девочки хмыкнули и ушли купаться. Пяточка начал сгребать землю в куличики и разглагольствовать о том, какую он купит машину. Девочки купались, пока, замерзнув, не потянулись на берег. Только одна, самая красивая, гордо поплыла на ту сторону, где можно было независимо посидеть на круче. Попав в стремнину, она слишком долго не хотела признать себя в судороге, но, когда над водой совсем жалобно взмахнули руки, Пяточка ринулся на помощь. Он рассекал неправильным кролем — не опуская голову, исторгая ртом брызги, размашисто салютуя руками. И скалился, как пес, который плыл за добычей.

Пяточка вынес обмякшую утопленницу на руках. Она осторожно, как несмелый цветок, оплела шею парня руками. Отфыркиваясь, Пяточка положил спасенную на полотенце. Мы ждали развязки, но Пяточка совершил подвиг без намека и продолжения, он не хотел за него поцелуя или обещания погулять. Он вернулся к продолговатым куличикам, которые делил какой-то подозрительной полосой. Блистели на солнце черные маслянистые волосы. С жировиков срывались прозрачные капли. Пяточка еще больше напоминал дикаря, который жил вне привычных нам отношений. А девушка — с истомленным изгибом бедра, с мокрым завитком на ключице — сама потянулась к нему в почтении перед диким спасителем. В ней все онемело от того, что ее схватили, вытащили, понесли. И оставили невредимой.

О, это влекло. Это имело последствия.

Но Пяточка посмотрел на льнущую к нему красавицу и отрапортовал:

— Нуль!

В женщинах его интересовало другое. Я не знал — что.

Я было сунулся поговорить о мелочах, но Пяточка не понял, точнее — не мог понять, подобно тому, как рыба не может понять, что живет

в воде. Он находился на совсем другом уровне, куда я побаивался заходить.

Мне ни с кем не удавалось поговорить о мелочах. Даже когда все устали от будущего и принялись за былое, мелочи так и остались деталями быта. Их вспоминали как забавный спутник эпохи, вроде чайника со свистком. «А помнишь?» — и спрашивали такое, что помогало закрепиться в действительности, забыть, что ты песчинка, вращающаяся вокрут уголька. И не было особой разницы, вспоминали песню по радио, роботов и джинсу или варезки на резинке, детсадовские колготки и картонку, на которой летели с горы. Ближе к мелочам были попытки разгадать природу металлической буквы Е или треск ломаемых перед курением веточек. Здесь уже было действие, вывод тайных закономерностей. Но чаще всего они оставались лишь пропуском в клуб. Это было отвоевывание своего «я», вера в отличие. Я никогда не считал мелочи чем-то меня выделяющим. То, что в кульке жарких семечек важны не соленые черные слезы, а сам обрывок газеты, — не делало особенным. Я лишь разворачивал пахнущий солнцем лист и читал странные вещи, о которых никогда не напишут в обычных газетах. Мелочи не получалось коллекционировать. Они были отношением людей по поводу вещей. Можно вспомнить, как заполняли дневник и размашисто вписывали наискосок: «Каникулы». А можно представить в голове неделю, и почему-то она будет в два столбца по три дня, с конечной субботой, без всякого воскресенья.

Отсутствие в голове воскресенья и было мелочью. Хотя какая уж тут она.

В мелочах важно было избежать памяти, обойти проточенные ею ходы. Встречая незнакомое, мы привыкли возвращаться в детство, из которого знаем жизнь: счастье пахнет клубникой, которую надо есть только с грядки, горячую от солнца. А календарь — он только такой, что висел у бабушки на стене, с отрывными красными цифрами. Мы постоянно откатываемся назад, ищем запечатленное нами подобие, не замечая, как память вытесняет событие. Она хочет застать бегущую мысль, вечно любоваться остановленным движением. А мелочь — это неостановимый поток. Попытка увидеть то, что пребывает в вещах, их несводимость и разность, отсутствие родовой сущности. И не какую-то вещьность увидеть, а тот незаметный лён сочетаний, от которого что-то вздрагивает внутри.

Ведь если и есть на свете миг, когда человек целен, то это миг понимания.

Со временем ожил завод. На него пришел большой государев заказ. Постаревшие рабочие задиристо сшибали костяшки, будто говоря: ну вот посмотрим, кто раньше упадет — мы или техника, и урабатывались сообща. Отец пропадал на работе, что называлось добрым словом «вечеровать». Еще с песчицы все гордились тем, что именно делал их папа. Кто-то работал в медницком цеху, а кто-то в электроремонтном, но все дети были уверены, что именно их папы выпускают из ангаров машины. Мой отец был слесарем в цеху оснастки и, может быть, немного стеснялся этого скромного, придаточного производства. Когда я понял, что отец

занят тем, что делает поддерживающие приспособления, которые помогают превратить заготовки в детали, то проникся к этой работе большим уважением. Отец занимался тем же, чем я, только в железе. Он помогал изделиям появиться на свет, но не считался родителем, а так, акушером. Дед работал в совсем другом, могучем цеху, с норовистыми машинами. А в цеху отца выпивали, там с крыши текла вода, и такой же между верстаками тек разговор. Оснастку вязали особенные люди: один собрался жить до ста пятинадцати лет и поэтому заваривал травяные чаи, другой мечтал перестучать мир в пинг-понг и в перерывах неся к игральному столу. Был человек, который все прочитанные книги переписывал от руки. Он объяснял, что слово должно жить в движении руки. Был свой философ, который развил странное заводское учение: все вещи существовали лишь потому, что в них верили. Без веры не было и вещей. Когда его спрашивали, откуда же в таком случае берутся новые вещи, философ великодушно обводил цех рукой и указывал на рабочих так, как на фресках указывают на творца.

Вместо подвига в цеху встречало то блаженное умиротворение, какое бывает при неспешной разговорной работе. На заводе, истинные размеры которого не знал никто, был уголок, в котором можно задумчиво ладить оснастку. Даже станки здесь работали чинно, зная, что без них не начнут и в других, великих цехах.

У верстаков терся кот. На складе держали даже хорьков, и однажды отец «помог» кому-то из дачников избавиться от досаждавших мышей. Он принес хорька, а тот вместо грызунов передумал местных кур и утек в степь. Кот же исправно ловил крыс, и его скромной вахты не замечали, покуда кот не сложил добычу на обеденный стол. Слесаря пришли в ярость и как следует оттаскали добытчика.

Тогда отец использовал свой кулак. Он утихомирил особо буйных товарищей и той же рукой долго гладил испуганного кота. Из-за чего так озлобились работяги? Мне кажется, они обиделись, что кот показал им свой труд, захотел немного похвастаться. В цеху оснастки это было не принято — труд его должен был оставаться необходимым и неизвестным. Крепки только те основания, о которых не подозревают.

Завод расчистил заросшие железнодорожные пути. По ним катили груженные составы, и обладатели зарубежных автомобилей все чаще стояли у переездов. С насыпи свешивались угрюмые тени: на платформах везли литых рыцарей с выставленным копьём. Эшелоны растворялись в стороне заходящего солнца, и было неясно — гибли они там либо, наоборот, что-то самоотверженно отодвигали.

Завод напитал город жизнью. По теплотрассам побежал новый взбодрившийся кипяток, и на ватной обмотке занежились бездомные. Зимы стояли жестокие, от них ломало глаза, и там, где пар особенно сильно пробил обшивку, бомжики соорудили многослойный парник. Они высиживали в нем, как в бане, и брали плату за вход. Я даже пожалел, что это не Вадик придумал.

Зарплату теперь выдавали в срок. С кухонь исчез макароний свист. Если в старых магазинах были тугие двери и заливной пол с мраморной крошкой, в новых элегантно открывались двери и пол отражал улыбки. Даже барахолка подобрала свой грязный подол и заползла под крышу. Оттуда исчезли старьевщики, остался один упрямый старик, который предлагал встать на изношенные механические весы. Он и деньги брал лишь потому, что помогал узнать, будешь ли ты однажды измерен и признан легким.

Я как раз оканчивал школу и был полон мыслей о том, что жизнь не напрасна и обязательно удивит. Разве может иначе казаться в сладкий последний май?

В этот миг, как и несколько лет назад, в мою жизнь вторгся Тюря.

Мы сразу узнали друг друга. Внутри все заледенело и тут же стаяло, когда Тюря пошел ко мне. Он был таким же приземистым, будто черпал силы от земли, а земля была вязка и черна. Она напилась талых вод, ее распирало от силы, и по тому, какие глубокие следы оставлял Тюря, ясно было — он ничего не забыл.

Он думал, что заедет на малолетку королем, что будет царить там так же, как царил у нас во дворах, но в тюрьме наверняка оказались свои феодалы, и борзого Тюрю пообломали, заставив жить с мыслью, что он не самый крутой. Обида затаилась в глубине крепко сбитой груди, вздрагивала там от побоев, и с каждым ударом громче звучала причина всех Тюриных неудач. Ведь именно я тогда рассмеялся, именно я понял, что Тюря такой же притворяющийся человек. И в тюрьму его привела невозможность мне отомстить, та несдержанность на случайном прохожем. А ведь очень обидно сидеть не за то.

— Пойдем? — просто предложил Тюря.

Мы уходили все дальше, в прежние бедные улицы, пока не выбрались к подвальчику с названием «Междуречье». Близ города текла только одна река, но по тому, как по-детски, с правильными соединениями, крепнулись буквы, ясно было, что название подобрали так, будто здесь знали о второй, тайной воде. Вход в кафе преграждала грубо сваренная калитка, над которой мигала выкрашенная в красный лампочка. Асфальт был начисто вымыт: из стены торчал кран, а внизу, у изрезанной дерматиновой двери, лежал свернутый шланг.

Тюря привел в криминальный шалман, где часто приходится замывать кровь. При входе он подаст знак половому — халдей, разматывая свой брендспойт. И все, меня смочет.

Почему я спустился вслед за Тюрей? Потому что каждый из нас иногда следует за удавом.

Внутри было темно: тяжелые складчатые шторы скрывали стены. Из угла разрастался плющ, на потолке в беспорядке заснули гирлянды. У стойки протирала тарелку мордатая продавщица в грязном белом чепце. За ее спиной, как турнирная пика, к обоям прислонилась рукоятка швабры.

Столов было несколько. Толстолобые, с квадратными ножками; за ними не сиделось, а как-то даже находилось, точно на важном заседании или суде.

— Ты что кушать будешь? — спросил Тюря. — Я три года жрал один картофан. Вышел — думал, воротить будет, а тут от толченки не оторвать. С пе-е-еченью.

Тюря вел себя спокойно. Буфетчица вынесла две тарелки с прилипшей едой и снова завозюкала полотенцем. Оно чуть слышно поскрипывало, гипнотизируя невидимых посетителей.

Тюря начал с хлюпаньем есть. Все опасные люди придают большую ценность еде. «Приятного аппетита», — может пожелать маньяк. Тюря уверенно подбирал гуляш хлебом и закладывал его в рот, как полено в печь. Вспомнилось, как однажды в гостях чужие старухи кормили младенца.

— Мяско, — говорили они.

И, как птицы, толкли коричневатую жижу.

— Мяско, — шептали старухи.

Они радовались редкому для них вкусу, вкладывали в младенца истолченное, любимое кем-то тело.

Мя-а-аско.

Я не смел пошевелиться. Страшно, когда перед тобой ест хищник и не знаешь — ты следующий или же просто гость. Наконец, Тюря оттер салфеткой вывернутые жженные губы и посмотрел на меня:

— В институт хоч. Физической культуры и спорта. Как думаешь, возьмут?

На малолетке Тюря дотянул до совершеннолетия, а потом написал заявление, чтобы его оставили в колонии еще на год. Сверстники жадно переводились на взрослую зону, в настоящую воровскую жизнь, но под смешки и приколы Тюря решил уйти от судьбы. Он добил образование до среднего, а когда вышел, устроился работать на завод.

— Ты молодец, что не дал себя выцепить. Там бы плохо получилось, поверь. Я какие только варианты не гонял... Даже когда сел, гонял. А потом, знаешь, мне как батя чилим влепил: ты что, вечно будешь по командировкам мотаться? В общем, я как бы сам себя в известность поставил. Стал человеком.

Бывает так, что покаяние напоминает принесение присяги, но Тюря просто делился тем, что было, словно между нами имелось незаконченное дело, которому требовался итог. Тогда я раскусил смысл кафе: реками были люди, которые в подвале сливались в исток. «Междуречье» оставалось землей между руслами, куда приходили люди, которые считали, что бунт — это что-нибудь сжечь, а потом поняли, что бунт — это сохранить огонь.

Мы распрощались без теплоты, как обычные взрослые люди. Я был рад, что Тюря свернул с кривой дорожки. Она многих завела не туда, и когда мы ходили с отцом по кладбищу, из-за мелких бетонных памятников за нами следили позолоченные гранитные плиты. С блестящими цепочками,

сверкающими перстнями и зубами, у любимых машин, молодые мужчины этих могил так страстно хотели жить, что было странно считать их мертвыми. Они презирали кладбище, возвышались над ним с надменным бандитским прищуром. Но могилы их понемногу ветшали, с них реже убирали листу, и «вечная память» оказывалась такой же, как у всех остальных.

Над всем бандитским погостом я бы выбил только три слова: «Не часто благородные».

Лет до шестнадцати все бредили разборками, задумчиво перебирали четки, широко расставляли руки, в школе баюкая одну из них в эластичном бинте. На вопрос безразлично сдвигали: «Да так, кое с кем закусился...» После шестнадцати все менялось: в настоящий криминал шли единицы, а остальные отваливались, хотя еще долго делали вид, что есть, конечно, знакомства. Разумеется, самые хваткие знакомства были у Пяточки. Он иногда грозил метнуться на велосипеде до серьезных пацанов. Но его останавливали: пощади, не губи раньше времени! И Пяточка не губил.

Только со временем я понял, что Пяточка правда знал кого-то опасного, но не млея от близкой бандитской интриги, не видел в ней притяжения, величины. Пока одни гордились, а другие ненавидели, Пяточка что-то знал о бандитах, но не придавал этому значения, не был ни потерпевшим, ни преступником, избегая несвободных ролей.

Из друзей в криминал втянулся только Вадик. Да и то в схематозный, неизбежно процветающий близ заводов. По вечерам Вадик торчал у проходной, подсказывал к работягам и рано купил машину, в которую иногда звал меня.

Был апрель. Шоссе рассекало отяжелевшую степь. От злой, угловатой машины летели брызги.

А Вадик объяснял мне, что мы едем торговать говном.

Некая Хозяйка каждый год замешивала на тайном пустыре опилки, солому и конский навоз в огромную сдобную гору. По весне за перегной устраивались переторжки, победив в которых, Вадик хотел развезти удобрение по нашему садоводству.

Еще издали я увидел ее — огромную, порыжелую, облепленную птицами, с развевающимися волосами-соломой. Куча была широка, похожа на присевшую в юбках бабу. Она была дородна и влажна, отчего хотелось отступить, поддеть кучу ладошкой и сжать, чтобы брызнуло из кулака.

В отдалении, поверх глухого забора, виднелись кучки поменьше, напоминавшие пирамидки — спутницы главной пирамиды. Им только предстояло подняться до ее вышины и прокалиться в рассыпчатую, ржаво-коричневую гору. От нее шел пар, как от остывающей головы.

У подножия кучи стояли машины. Рядом оживленно спорили мужики. Один из них, тощий, с крохотной сумкой через плечо, в кепке-восьмиклинке, согнутый и желтоватый, похожий на стружечку или ноготок, медленно и широко открывая рот, кричал одно и то же слово. Если б не опущенное стекло, казалось бы, что он кричал: «Я есмь!.. Я есмь!..»

— Так, — решил Вадик, — ты здесь подави* по сторонам, а я в дозор.

Выбравшись из машины, Вадик чуть расставил ноги, посмотрел вниз, одернул курточку, не поднимая головы сплюнул, провел небольшую разбежку, по-боксерски встряхнул руками и, вскинув голову, засунув руки в сквозной карман куртки, косолапя и поворачивая шею, двинулся к мужикам. В Вадике было слишком много глаголов, но он умудрился использовать их все за два десятка шагов. На гостя оглядывались тоже непросто — без движения, чуть скособочив шею, словно руки приросли к телу и его можно двигать только ленивым поворотом головы.

Это был язык дворового подвига, в нем можно поднатореть, но не выучить — он дается с основ, с первых споров в песочнице, с требования вернуть игрушку. Если не прошел — никогда не освоишь осанку, подделка же будет выкуплена, как тогда под сенью акации, где за столиком меня разбирали на доминошки.

Мне было стыдно, что я так не умел. Я перевел взгляд на кучу.

Солнце растопило ее, и куча обваливалась крупными сочными комьями. От просушенной вершины до темной влажной подошвы куча переливалась всеми оттенками коричневого — цветом песчаной бури, ржавой гайки, раскрошенного печенья, корицы, яшмы, отрубей, самана, обожженного кирпича и обожженной глины, медной монетки, пряностей, хны...

Это была и не куча вовсе. Куча — это сочетание разрозненности, навал вещей — игрушек, носков, народа, тогда как перегнутой был, скорее, грудой. Как камней или щебня, чего-то однородного, карьерного, добытого из недр, черничного антрацита или простого железа. Но почему именно о куче спорили бандиты, Вадик и мужики?.. Куча неорганизована, она естественна и «сама». В куче все бесформенно, она поглощала резкость, обращала предметы в рассыпчатую гору непонятно чего. Груда излишне упорядочена, ее взяли ковшом и ссыпали, тогда как кучу возможно только наложить, небрежно и где захочешь, отчего она неподотчетна, свободна и не является товаром в отличие от их груды. Груда даже звучит иначе. Звонкое, крепкое «гр» — гром, гора, гречка, волчье рычание. Куча же рыхла, она расступилась под языком. Груда тоже могла распасться, но ее составные и по отдельности имели строгую форму, тогда как в куче они были пережеваны и перегнули. Вот почему груду видно издалека, а кучу необходимо обнаруживать, наткаться, это вновь блаженные времена охотников и собирателей, которые с первобытными криками теснятся у подножия навозной горы. Их обозленность понятна. Это не вопрос денег. Здесь стояли за что-то иное: за древнюю человеческую страсть к находкам, за дрожь над открытым сокровищем.

Хозяйки все не было, и спор накалялся. Бандиты стали толкаться, работяги кричать: «Ты чё?» Тела становились грудой. Груда — это еще уважение, какое существует к полю битвы, где живым тесно меж груд убитых. Здесь была незримая ценность, когда мертвое, гниющее, беспорядочное,

* Давить — здесь: наблюдать (жарг.).

брошенное и бесполезное все еще считалось нужным. Покуда тела не свалены в кучи, можно быть уверенным, что наши мертвецы еще важны нам, а смерти не существует.

Это очень важная разница: вещи превращаются в кучу, когда мы утрачиваем понимание того, что их разделяет, а грудой они становятся тогда, когда мы знаем, что их связывает.

С вершины кучи насмешливо скатилось несколько влажных комков.

Куча — это поражение вещей, легкая эротика распада, первого запаха, гнили, пыли, хотя бы обычного беспорядка. Куча образовывалась в угасании, при усадке предметов, и в этом смысле компост, из чего бы он ни был сложен, всегда является кучей. Идея кучи заключалась в отработанности материи, ее составляющей, поэтому идеальная куча есть у листьев, но не у развалин, которые долго еще служат вдохновением или упреком. А куча... куча сомкнулась, чтобы переварить саму себя, исторгнуться гнилью и тленом, объединив разнородное множество в общий земляной белок.

Драка началась внезапно, без какого-либо приказа. Все схватились со всеми. Рыкнули, сбросили нитку слюны. И ударили. Вадик тоже мазнул. И сразу словил ответ. Где-то на самом краю объявилась высокая фигура Хозяйки, которая повелительно махнула рукой, и из машин, из-за соседних заборов, из более мелких куч, из самой земли хлынули новые и новые воины, которые влились в побоище, дабы вечно радовать великую кучу навоза.

Ее хотелось превратить в оползень. Овладеть ею, сжать, раздавить творогом в руке, заставить истечь прозрачной зернистой сукровицей. Кучу хотелось срезать, поломать, заставить рассыпаться, сгореть в ней до черного жирного праха. Куча была искусственна, ее размера не было в природе, и потому она была так мелочна, так человечна. Это были предельные мелочи, собранные в одно и не существующие друг без друга. Это был навоз к навозу, говно к говну, и люди дрались за право стать прахом, распасться среди мертвой травы.

Итак, что делаю я?

Я выхожу из машины.

И выношу из нее кулак.

Битва за кучу навоза была единственной дракой, в которой я участвовал. Толкотня и разбитый нос — это лишь столкновения с бытом. В настоящей драке сталкиваешься с человеком, который решил выбить тебя из жизни, лишит здоровья или дыхания. Как только я понял это, правильно сложил кулак. Он налился прадедовой силой, которую я успел применить раз или два, прежде чем меня потушили. Все было как в той лесополосе, где меня огрела растянутая резина: темнота, ложные звезды и пробуждение в боль. И почти — как в том прыжке в листья с овощехранилища.

От той кучи Вадику достался перелом ребер и скромная доля навоза. Как и обещал, друг привез на дачу полный грузовик перегноя. Мама набила им грядки.

Моему крещению порадовался и отец. Выздоровливая, я заслуженно сидел в его кресле, и единственное, чего не хватало мне как мужчине, — это норовистого кота.

Перед смертью Ваше Дикошарие стал ласковым. Он тыкался в ладони тепленьким носом. За год до смерти Ваше Дикошарие взвесили маминым безменом, с которым она раньше ходила на рынок. Шкалы не хватило: вопящий из сумки кот легко взял шесть кило. Он мог бы и восемь, но не нашлось подходящих весов. Ваше Дикошарие быстро терял шерсть, а когда у него выпали клыки, отец стал лично разжевывать ему курицу. В последний дачный сезон отец даже копал Вашему Дикошарию ямки, чтобы тот не утруждал разбитые артритом лапки.

Кот подолгу сидел у отца на руках и, как счастливый старик, умер прямо во сне.

Когда умер Наумыч, семья Вадика стала разбирать его закрома. Они спустились в погреб и отомкнули скобы тайных амбаров — Наумыч завещал раздать накопленные сокровища соседям. Банки, бечева, тачки, колышки, доски, банные веники, стопки картона, ведра, подвязки — как из открытой золотой жилы, богатство растекалось по садоводству, словно Наумыч хотел устроить один огромный потлач*. Больше всех была рада тетя Тома, которая даже решила назвать новый сорт пузатых кабачков в честь умершего соседа. У нее тоже появилась добротная поликарбонатная теплица, и теперь зимой от полустанка ползли в садоводство две черные точки.

И хотя путешествие на дачу было коротко, оно нравилось мне по тем же причинам, что нравились кому-то корабли и верблюды: настоящее путешествие делает тебя незаметным. Ты соотносишь масштаб и умолкаешь.

Путь мой, как в детстве, проистекал со двора. Я видел Пяточку, который наконец-то сменил велосипед на машину. Рядом стоял его отец, обычный работящий мужик, и гордо держал руку на плече сына. Пяточка тихо, застенчиво улыбался. Из своей машины сигналил Вадик — и Пяточка садился за руль, чтобы понестись следом за другом, как когда-то неся за нами на истертом седле.

Отцвели липы, от которых на улицах было сладко и темненько. В городе чувствовалась общая запущенность, будто здесь когда-то кипела смелая жизнь, а теперь остались только пирамидальные тополя. С разломанным асфальтом, со стрекочущими в полыни кузнечиками, с вытоптанными в сорных газонах тропками, с дремой облупившейся плитки, с обметенными миллионом шагов поребриками, с твердым крупяным песком — город был источенно прекрасен, похож на древний великий град, который гордо переживает неизбежный упадок. Весной он одевался сиренью, кутался в нее, как в меха, а летом оплетался спорышом, который тянул по дорожкам упрямые нити. Одолевавшая город жизнь была

* *Потлач* — здесь: ритуальное раздавание имущества.

неохотной и разламывала его так же медленно, как он когда-то жил. Это было не увядание, а готовность жить так же, как уцепившаяся за камень колючка, которая наблюдает в пустыне смену торопящихся поколений.

Как всегда, страшно тормозила электричка — вдруг не хватит перрона? И как всегда, хватало. Вагон заливал свет. Ярко горели рейки сидений. Вместо бархатного пути колеса постукивали на старых разговорчивых рельсах. А когда поезд уходил с платформы, в глаза бил звук, запах, простор. Полевые цветы с ноткой щипкого креозота, звезда в небе — мир был такой, что все вокруг упиралось в аминь.

Сверху дачи казались крошечными, пришедшими на водопой. Домики теснились игрушечные, совсем картонные. За их судьбу нежно сжималось сердце.

По весне на дачах палили траву. Год от года, от отца к сыну, люди поджигали траву и смотрели, как в ней сгорают бани, заборы, дома. С палом травы боролись, штрафовали и даже били, но на следующий год те, кто бил и штрафовал, сами жгли сухостой. Это было что-то неостановимое, общее помешательство. В бушлатах и кирзачах люди топтались на участках и с сомнением рассматривали быльё. И все знали, что бесполезно, что гибнут птицы и вырождается почва, но сердце хотело знать, сможет ли и в этот раз огонь одолеть траву.

В домике не было электричества, но мама успела вскипятить чай. У старого термоса влажная растрескавшаяся пробка, обернутая в целлофан. Пробка пахнет гнилью, затхлостью, чаем. Терпкий аромат размоченной древесины, нотки бактерий, плесневелой травы... Это была невинная пробка, она просто удерживала кипяток, но в ней угнездилось разложение, тлеет плохой болезнетворный грибок. Все это просачивалось в кипяток, отдавало тяжелым затхлым духом.

Не всегда заглушка должна так долго служить.

Мне сыро.

Сыро знать что-то.

Пусты двory перед нашими окнами. Раньше мы сбрасывали велосипеды, и они отдыхали, как тонкие кони, а мы лопали облепиху, вытягивали из травы петушка или курицу. Как-то раз мы нашли табак, которым протравливали капусту, и так нанюхались его, что как гусеницы оползали огород. В другой — решили уехать далеко-далеко, в задымленную степь, взяли воду, выдумали приключения и до изнурения крутили педали, а когда повалились в траву, поняли, что всего-то проехали час, что впереди сутки и сутки степи, а мы уже нигде, в океане, и молча потянулись обратно, к ждавшим нас берегам.

Как здорово смотрятся брошенные вместе велосипеды!..

А кто-то один, самый приличный, обязательно ставил велосипед на подножку.

Как здорово смотрятся брошенные вместе велосипеды...

Я ехал по дорогам, которые никогда не забывают прошедшего. Давным-давно не катят по тракту подводы, а сурепка так и не смогла

зарастить колею. Возле старой лошадиной тропы все еще с надеждой раскачиваются клещи. Всюду начинкали автомобили.

Небо в степи высокое: под ним ничего нет и его ничего не притягивает. Степь — в этом слове есть шаг, смерть травы. Она выбита солнцем. Это пустая трава, покорная. К осени от нее остается одна оболочка. Повсюду бледная, больная полынь, трава двух цветов — синего и зеленого, зимы и жары. Я скатал два комка полыни, засунул в нос и с каждым вдохом дотягивал до сердца холоднуюжигающую струю.

Кобылки бесстрашно бились о ноги, хотели повалить в короткие травы. В степи лежишь как на огромном шаре, все видно, и тебя несет, проворачивает, и кажется — соскользнешь, но не с края, а в стог, в колючку перекати-поля, где путешествует прах. Степь часто сравнивают с водой, и в ней есть неизведанность океана, но разве как волны поют кузнечики? В них нет той обволакивающей густоты, что есть у моря. И нет высоты от грозного беспокойного вала до распавшейся пены. Песню кузнечиков можно выслушать до щелчка и узнать за ней полную краткую тишину. Их песня — костер, куда подбросили сучья, сухие искры статического электричества.

Когда понимаешь это, понимаешь и то, что наш мир можно раскрутить, как педаль.

Я доехал до неизвестного изгиба реки. Пашня кончилась, началось разнотравье. Из отцветших жарков сыпались семена. Распушился ковыль, словно где-то вдалеке, у горизонта, несся конь с длинной серебряной гривой.

Я скинул одежду и бросился в воду. Два гребка втиснули в холодное обволакивающее течение. Я сжался в комок, позволяя темноте кувырять себя. Полынь вымыло из ноздрей. В ушах хрустнуло, их заложило льдом, и то, что на небольшой глубине вместо лета был космос, возвращало ко дню творения, когда мира еще не коснулось ничье дыхание. В голову проник едва различимый писк, требовательный, исчезающий, словно у тьмы было жало, и оно покалывало меня.

На берегу звон стал четче. Я вытряс из ушей воду, и звон усилился. Он шел откуда-то из степи. Я двинулся навстречу, прямо под высокое солнце. Степь звенела: до самого горизонта в ней не было ничего, кроме одинокой купы кустарника. Истощающе пахла полынь. От нее в глазах прыгали искры. Полынь пахла жутко и холодно, так пахнет пустой оставленный дом, и оттого, что повсюду была жара, в которой иступленно пели кузнечики, а полынь была ледяной и кружила, и нема была голова, и ноткой вползал чабрец, — тело вдруг так ожгло, что ветер затек под корочку.

Солнце застыло в зените. Тени исчезли, мир прекратился. Перестал дрожать и стал черным куст. Листву его затопило, склеило в ком. Было настолько светло, что померкло. Из той далекой степи, где вместо трав колышется марево, ударял звон, будто раскачивали пыльный колокол. Я всматривался в горизонт, пока одна из искорок не стала искрой. Она разрослась и, когда должна была превратиться в облачко, распалась на множество точек. Гнус налетел тучей черного шума. Гудели стройные комары и коренастенькая мошка. Тяжело выли грузные лиловые мухи.

Сновали пестрые мокрецы. Никто из них даже не сел на меня. Я попал под ливень, который не хотел меня намочить, и то, что голое беззащитное тело не влекло насекомых, говорило о чем-то непоправимо случившемся.

Мошкара летела к оврагам. У их края, на всплеске синего неба, вился гнус. Он вихрями закручивался над чем-то лежащим в ложбине, и, хотя полынь заглушала запах, переставший ветер не мог заглушить стон. В овраге ныло животное, ведь только живую кровь любит гнус. Он выныривал из нее насыщенным, жирным, прокаленным от пищи. Гнус свивался в веревку, выжимал из себя черную многоглазую нить, которая так протягивалась по воздуху, что резала по живому. Это был пир мелочевки, торжество однодневок. Маленькие одержали победу и ели с той же радостью, с какой ели в мире больших. Их хоботки сокращались, воздух затекал в жилки и выл. Туча стала бурой, крапленой, и нужно было подойти, заглянуть, понять, из чего поднимается гнус, но было страшно узнать, что малое тоже поднимается из большого.

Я поспешил к велосипеду.

На дачах, выйдя из тени, на солнцепеке стояли старики и старухи. Их лица были темными, припоминающими. Качались зашумевшие травы. И лист ландыша... лист ландыша был похож на лист черемши.

У города, на переезде, пришлось ждать прохождения эшелона. По насыпи грохотали длинноносые тени. Когда стих предупреждающий звук, я услышал далекий вой. Это выли сирены завода. Как со скалы, к которой нельзя подплыть, они оповещали мир о чем-то свершившемся. В вой мрачно вслушивались водители. Свободно мигал бело-лунный сигнал семафора.

Город встретил тихо. Окна в домах напоминали большие подслеповатые кирпичи. Из-под крыши высыпала барахолка. Старьевщик зажал весы под мышкой и куда-то ушел. Люди на улицах вслушивались в зов завода, словно внутри цехов раскрылся голодный рот, который требовал насытить его, и все понимали — не углем теперь нужно.

Я несся мимо родного двора, где обезумевшая женщина бросала конфеты прямо в песочницу с малышами, несся навстречу растущим гудкам, к чахлой рожице у заломленного оврага. И когда ударил по тормозам, когда прочертил в пыли полосу, передо мной открылось то, к чему созрел я.

Овраг засыпали. Рожицу закатали в асфальт. На нем появился ларек, обклеенный дешевыми пластиковыми панелями. Перила обвивали разноцветные шарики. Под тряпичными зонтиками ждали чистенькие столы. К открытым дверям стекались мужчины в светлых рубашках с расстегнутыми воротниками. Голубая горела вывеска.

Вот и всё, дед. Вот и моя река.

В толпе провожающих, у новенького, жизнерадостного здания со звездой, вокруг нас бродил сумасшедший. Он кричал:

— Кто любит животных!? Кто любит животных!?

А когда кто-то ответил: «Я», он подскочил и сказал:

— Правильно. Там — много котов.

Затем выступал священник. Он был молод и тоже многое понимал.

Ему хотелось все увязать с истиной, но он стеснялся, не мог. Он не стал говорить про Отечество, а сказал про алтарь. Что блаженны те, кто взойдут на него. Что спасен тот, кто жертвует собой за других. Ему было сложнее всех — он должен был вдохновить нас, не прогневать начальство, остаться в друзьях с Отцом.

Это сложно, это очень сложно, это сложнее алгебры был урок.

Дул ветер. На солнце сияла фелонь. Казалось, все листья слетели с нее. Но с крыльца хмурились: там думали, что вера — это грозы под колокольный звон. Что лучше б взял с иконы огонь и мечом неверных сразил.

— Нет больше той любви, еще...

И все-таки священник недоговаривал важное. Если жертва, агнец, алтарь... надо присовокупить — палач, надо добавить — лев, надо увидеть нож. У жертвы тоже может быть жертва.

В ночь пришел сон: черная, внешняя тьма с каменным алтарем. На камне было чисто, только в самом-самом углу маковым зернышком закатились все мученики, все смерти, все огорченные и убитые. И зналось — это только начало, продырявлен над камнем мешок.

На зов пришел Вадик. Разросшееся дело он передал друзьям. С двумя малыми ребятишками пришел Тюря. Ему было сложнее всех, ведь могут не поверить дети: уйдут в угол, сами оттуда звонить, ведь нам он должен ответить, и упрямо не примут гудка.

Представилось поле, на котором лежат.

И звонят. Всем звонят. Им звонят. И они звонят.

Все друг с другом перезваниваются.

Пяточка тоже пришел, его не взяли бы, но он шел чистым улыбочивым чудачком, а значит — так же искренне, как и все. И были еще другие, незнакомые, и те, о ком успелось сказать.

Мы разговаривали, очень много шутили. Спрашивали друг у друга самое важное. Молча боялись плохого. Один только сказал, с вытянутым лицом: «Очень боюсь хорошего. Радости боюсь».

А один деревенский парень, лопухий и поэтому чуточку неземной, переживал, что, если «плохое», мать его будет долго собирать веточки и ходить за валежником, потому что в дровнике лежат поленья, которые он колот.

На это пришел еще один сон. Женщины срывали с себя черные косынки, бросали в небо. Косынки улетали, прилетали журавли.

Вот что невозможно понять — как из одного образуется другое.

Среди нас был тот, кто вызвался следить за огнем. Он всегда осматривал дрова, даже малые веточки. Поймав взгляд, отвечал: «Вдруг кто ползет» — и бросал полешку в огонь. Позже я шепнул ему у какого-то иного костра: «Тебе бы в политики». Товарищ подумал и усмехнулся.

Я был бы рад, если бы нами правил тот, кто осматривает веточку от муравьев, прежде чем бросить ее в огонь.

Если же меня не заметят и все-таки смахнут в него — мелочи раскатятся из моей опрокинутой головы, как пуговицы из коробки. Такой короб стоял у нас в прихожей. Он был полон сыпучих сокровищ. Ладони окунались в него, как в затвердевшую воду. За игрой я перевернул короб, и пуговицы раскатились так, будто всегда об этом мечтали.

Родители заставили собирать.

Думали, что это для меня наказание.

Думали, что наказание...

Я знаю, как наказание будет выглядеть для меня.

Осень, дача. Пора повидла и белой травы. Последняя ушла электричка. Степнеет, и я спускаюсь домой с вышины. Ровно стрекочут кузнечики. Ветер перестукивает твердые листья. В воздухе загадочная паутинка.

Наш участок обвит хмелем. Из бочек на зиму уже вытащены заглушки. Совсем скоро их опрокинут, положат под снег. Залито светом сложное решетчатое окно, которое сделал дед. Нити берез перемешивают темноту. На крыльце горит лампочка. Вокруг нее мотыльки. Внутри натоплено. Родные пьют чай.

Я различаю незнакомую кошку, которая сидит у отдернутой занавески. Она смотрит во тьму, ждет меня. Я ускоряю шаг. Становится больше пара. Тусклее становится свет. Я иду, но не могу приблизиться. Появляется холод. С ним появляются расстояния.

И этот холод по заиндевевшей траве...

Лишь кошка видит меня. Она щурится, склоняет мордочку набок. А на веранде ждут, там верят, что вот-вот хлипнет калитка и я все-таки попробую пастилу.

И не вытаскивают из недочитанной книжки оставленную мной закладку.

Кошка спрыгивает с подоконника. Ей открывают дверь. В проеме таковой родной силуэт. Я кричу, размахивая рукой. Мать вслушивается в листопад и не знает, что это — я.

Затем закрывает дверь.

Тогда я сажусь у кошачьих могилочек. Подбираю неизвестно откуда взявшийся ус. Кладу его в карман и бреду в темноту.

Я мог бы сказать, что это за листик магнолии, за Кантик, за путь кураги, за обиду из-под сирени, за макароний свист. За то, чтобы осматривали перед огнем. Чтобы летали бронзовки и охотились судаки. За садовую бочку и кулак у кучи навоза.

Но нет.

Если тебе есть «за что» — значит, уже не прав.

Дело совсем в другом.

Я ухожу прочь, в тонкую степь. *Уха света лунного* омывает мой путь.

На моем шевроне букетик кошачьих усочек.